

**Владислав
БАХРЕВСКИЙ**

г. Москва

КОРОНАЦИЯ

Москва – праздник русской земли. Со времен Петра сей праздник лебедой забвения порос, одичал, стал домашним, для своих. От матушки Москвы старыми сундуками шибало в припудренные носы петровских и прочих выскочек. Всеи этой французистой немчуре не токмо московские хоромы, но даже Кремль казался медвежьей берлогою. А какое оскорбление чувствам? На московских улицах мужики водились: скрип лаптей, вонь тулупов.

Москва вдовствовала, да не больно горевала. Бог миловал от вахтпарада, от иноземного шарканья и монплезира – жила как можется.

И, однако ж, без благословения Москвы русский царь не царь.

Весь Петербург прикатил, смиря гордыню, в стольный град православного народа.

Коронация – венчанье и величание перемен по обычаю московскому. Пир – горой, без французского жеманства, без немецкого братанья. Русские праздники – на столах. Коли у столов ножки от обилия брашен не подламываются, а пирующий, упаси господи, на ногах устоял – хозяину стыдоба.

Император Александр прибыл в Москву 5 сентября 1801 года. У заставы, у Петровского подъездного дворца хозяина России встречали многие тысячи верноподданных.

Когда Александр и Елизавета Алексеевна вышли из кареты, чудовищная толпа онемела: Бог послал народу русскому истинных ангелов – уж до того была красивая пара.

– Ни в сказке сказать, ни пером описать! – перешептывались москвичи.

На другой день император один, без свиты, без охраны проехал по Тверской верхом. Царя узнали, и в считанные минуты народ запрудил улицы, переулки, закоулки. Всадника стиснули, но дороги не преградили.

– Солнышко наше красное! – кричали женщины.

– Родимый! – кланялось простонародье. – Батюшка!

Окончание.

Начало в журнале «Север» №11-12 за 2017 год.



Батюшке было двадцать три года, а все равно батюшка.

Смелчаки целовали лошадь, стремяна, пошвы государевых сапог.

Встречает народ русский государей своих любя. Провожая в последний путь, плачет горчайше.

Официальный въезд в древнюю столицу император назначил на Рождество Пресвятой Богородицы, 8 сентября.

Церемониальный поезд был не особенно велик: полсотни дворцовых карет, около сотни частных.

Ради праздника Бог послал погоду дивную: на небесной сини — ни единого облака, сентябрьское солнце и светило, и грело. Жарко было! Александр ехал с обнаженной головой. Церквей по дороге множество, возле каждой — Крестный ход, иконы, хоругви. Карета останавливалась, Александр выходил, молился, прикладывался к святыням.

Вся Москва была на сих смотринах.

От Тверской заставы до Кремля и от Кремля до Слободского дворца, купленного Павлом у графа Безбородко, воздвигли подмости в три, в четыре яруса.

Венчались Александр и Елизавета на Царство Русское 15 сентября. Накануне вечером похолодало, небо затянуло серыми облаками, прошел дождь. Но Москва была на ногах и ночь провела бессонно. В Кремле, возле колокольни Ивана Великого, были устроены зрительские места, на которые пускали дам по билетам, а сбор приглашенным назначили на три-четыре часа ночи!

Для чиновника коронация не токмо служба, но памятник. Какое бы место тебе ни отвели, сей труд во имя Божие и во славу государя — запечатляется на скрижалях истории Отечества.

Городовой секретарь, их благородие тринадцатого, предпоследнего, разряда в табели о рангах, дворянин Василий Андреевич Жуковский назначен был дежурить у Воскресенских ворот: проверять пропуска допущенных на Красную площадь.

Увы! И на этой службе Жуковский был вторым, товарищем коллежского асессора Дмитрия Николаевича Блудова, чиновника Архива коллегии иностранных дел.

Старший по ранжиру (на целых пять ступеней!) был моложе подчиненного на два года — шестнадцати лет от роду, но известность Жуковского в кругах пиитических оказалась для Блудова притягательной. Он тоже писал стихи и был в кровном родстве с великим Державиным, со знаменитым Озеровым, автором «Эдипа в Афинах» и «Фингала». Державину — племянник, Озерову — двоюродный брат.

— Отчего же мы не встречались по сю пору? — удивился Жуковский

— Ах, господа! Не я ходил в университет, университет во всей своей красе являлся ко мне. Это грустно, но родительская воля для покладистых чад неоспорима и укоришне не подлежит. Отца я потерял рано, а матушка даже на службу отпускает меня, всякий раз благословляя. — Блудов был курносый, лобастый, губы на широком лице узкие. — Что ты на меня посматриваешь? Нечто знакомое? Мне бы рот поменьше да брови домиком — копия Павел! — Блудов засмеялся, и никакой красоты не надобно.

От Александра они были в восторге.

— Мы счастливое поколение! — сиял глазами Блудов. — От Павла веяло погребом, а теперь у нас знаешь что есть? Будущее!

Поток стремящихся на Красную площадь иссяк, и они, сойдясь, наперебой исчисляли друг другу радостные законы Александра.

Начали с помилованья на другой уже день царствования невинно томящихся в тюрьмах, в ссылках, с возвращения на службу разжалованных, изгнанных.

— 15 марта вышла амнистия беглецам, скрывшимся от Павловой грозы в заграницах! — победно вскидывал правую руку Блудов. — 14-го его величество снял запрет с вывоза русских товаров.

— Тогда же, 14-го, восстановлены дворянские выборы! — Жуковский поднял обе руки.

— 16-го — разрешен привоз в Россию иностранных товаров.

— Указ обер-полицмейстеру графу Палену о строжайшем запрете полицейскому ведомству чинить обиды и притеснения народу.

— Этот указ издан 19 марта, а 17-го Александр ликвидировал ратгаузы — в губернских городах, и орданансгаузы — в уездных.

– Блудов! Для меня самую радостною стала отмена запрещений на ввоз из-за границы книг и нот!

– Возвращение исторических наименований полкам, кои при Павле стали вотчиной шефов.

– Мы забыли указ о свободном пропуске едущих за пределы России и въезжающих в Россию! – почти кричал Жуковский и слышал в ответ:

– Манифесты! Манифесты! Манифесты императора Александра – это песня песней Соломоновых: восстановление жалованной грамоты дворянству, восстановление городских порядков, предоставление казенным поселенцам права пользоваться лесами. Облегчение участи преступников! Уничтожение тайной экспедиции!

– Блудов! Уничтожение виселиц на городских площадях!

– Вот именно – уничтожение. Пусть людей не вешали, но, прибывая к виселицам дощечки с именами, казнили нравственно.

– Отмена шлагбаумов! – вспомнил Жуковский. – Россия была полосатой от шлагбаумов.

– Это еще не свобода, но образ свободы. Не правда ли?

– Не знаю, – помрачнел Жуковский, его радость померкла. – Продажа людей не запрещена, но почему-то запрещено печатать объявления о продаже крестьян отдельно от земли.

– Жуковский! Павел Петрович в день восшествия на престол раздарил новоявленным вельможам 82000 свободных крестьян! Александру напомнили об отцовской щедрости. Ты слышал, что ответил государь разинувшим роток на человеческие души?

– Нет, не слышал.

– Александр воистину Александр – защитник людей. Он сказал: «Большая часть крестьян в России – рабы. Считаю лишним распространяться о несчастьи подобного состояния. Я дал обет не раздавать крестьян в собственность, дабы не увеличивать числа рабов».

У Жуковского перестали блестеть глаза.

– А сколько у вас душ, Блудов?

– Много. А у вас?

– Я тоже рабовладелец. У меня – Максим. Бабушка одарила. Мы все повязаны рабством.

И еще службой. Служба такое же рабство. Начальник моей конторы готов меня цепью приковать к столу.

– А где вы служите?

– В Главной соляной конторе. Ненавижу! Ненавижу мою службу до такой степени, что, любя все соленое, не прикасаюсь к солонкам.

Блудов засмеялся.

– Да как же вам любить крепко соленую контору, коли правит ею Пресмыкающееся животное?

– Вы знаете прозвище господина Мясоедова?

– Москва любит зубоскальство. Но, драгоценный друг мой, выше голову! Наш вождь – Александр. Имя гордое, зовущее за собою. Не берусь предсказывать, благословит ли Бог нашего государя на подвиги, достойные славы Македонского, но наше с вами завтра – пусть не близкое – блистательно! Александр каждого рожденного в России одарит будущим. Я уже говорил вам это.

Жуковский промолчал: коллежского асессора шестнадцати лет от роду в двадцать станут величать «ваше высокородие». А статскому советнику далеко ли до тайного?

– Я вижу сомнение на вашем лице, Жуковский! Быть нам при государях! Быть!

– Друг мой Дмитрий! Я прапорщик. Сержант – в два года, в семь – прапорщик, но я и в восемнадцать – прапорщик.

– Вы, Жуковский, поэт, а поэты в России – ближайšie к трону люди. Поэт в России, Жуковский, звание генеральское.

БАРМЫ ПИИТА

Новый друг – праздник. Дружба пьянит. Андрей и Александр Тургеневы, Жуковский, Блудов стали неразлучными. Дружество их было отчаянно сладостным, тем более что разлука уже на пороге: Андрею нашли место в Петербурге, в Иностранной коллегии.

Шатаясь по Москве, по гостям, друзья нагрянули к великому Дмитриеву. Иван Иванович жил в собственном доме у Красных ворот. Дом был с виду вполне обывательский, внутри тоже ничем не поражал: уютно, светло, в кабинете вместо стен книги.

Иван Иванович давно уже приглашал младшего поросль на книжный свой пир. На Андрея Тургенева, на Жуковского смотрел с ласковой влюбленностью.

— Ах, славные мои! Как вовремя-то пожаловали. Сижу и плачу! Боже, как хорошо! Теперь вместе поплачем.

— «Слово о полку Игореве!» — узнал Жуковский раскрытую на столе книгу.

— Сколько раз, Василий Андреевич, сие читано тобою?

— Не менее десяти.

— В сотый раз прочтешь, а сердце будет биться, словно впервой чудо сие открыл: «О, Русская земле! Уже за шеломянемь еси! Длго ночь мркнетъ. Заря светъ запала, мъгла поля покрыла. Щекоть славил успе; говор галичь убуди. Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи себе чти, а князю — славы». Будто на скрижалях писано!

— Жуковский подумывает сделать перевод «Слова», — сказал Андрей.

— Желание весьма похвальное. Всякий русский пиит должен сделать хотя бы для самого себя перевод «Слова». Се — профессор, коему равных нет. «Слово» учит видеть, а не скользить очесами вокруг себя. Учит слышать. Нам ведь постоянно долбит свое внутренний голос, а надобно слышать, что в мире делается... «Уже бо беды его пасеть птицъ по дубию; вльци грозу въсрожать по яругамъ; орли клектомъ на кости звери зовутъ; лисици брешутъ на чръленья щиты».

— Иван Иванович, что до точности слова в стихах, то вы и сами мастер первейший! — сказал Жуковский.

Дмитриев глянул быстро, остро.

— Лъстишь старику?

— А вспомнить хотя бы, как у вас о поэтах современных сказано:

*Лишь только мысль к нему счастливая придет,
Вдруг било шесть часов! Уже карета ждет;
Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону,
А тут и ночь... Когда ж захватъ к Аполлону?*

Всё в точку.

— С какой, бывало, ты рассказывал размашкой, В колете вохряном и в длинных сапогах, За круглым столиком, дрожащим с чайной чашкой,

— прочитал Блудов, сияя глазами. — Ни единого лишнего слова! Колет, длинные сапоги — эпоха! А дрожащая чашка с чаем?!

— Какие же вы молодцы! — возрадовался Дмитриев. — Вы же совсем зеленые отрочата, но проникли в самую суть поэзии!

Кликнул слугу, велел подать вина и кофею. Ходил по кабинету порозовевший, ворот на рубашке расстегнул. Ивану Ивановичу было чуть за сорок, но он казался гостям самой историей. Головой вдруг потрянул:

— Должно быть, кародей наш Ломоносов добыл для русской поэзии семимильные сапоги. Позавчера — благозвучный Сумароков, вчера — громовежец Державин, но ведь Карамзин-то уже не сегодняшней день! Сегодняшний день поэзии нашей — это вы, господа!.. Вы превознесли мою точность в слове. Се дар нашего поколения — вашему. Точное слово, по Божьей милости, внедряется в русский стих. Хотя бы тот же Клушин, слывущий заурядным:

*Жил-был старинного покрою
Драгунский храбрый капитан,*

*Наскучил службой, марш к покою,
В деревню, штурмовать крестьян.
Чтоб дать герою блеску боле,
Скажу об нем, каков он был.
Он век провел на ватном поле,
Купил табак и храбро — пил.
Усы колечком извивались
Вкруг носа римского его...*

Безыскусно вроде бы, да капитан как на картине. Вот он, весь! А с ним и большинство дворянства нашего.

Слуга ставил на стол чашки для кофе, бутылки, бокалы и, наконец, поднос с закусками, поднос с калачами.

— Люблю московские калачики! — Иван Иванович поднял бокал. — За нашу любовь и преданность русскому слову.

Выпили здравицу Державину, Карамзину.

— Иван Иванович! — спросил Андрей Турге-

нев. — Говорят, вы чудом спаслись от гнева императора Павла.

— Придумают — чудо! Божья милость! Да ведь и гнева-то не было. Получивши капитанский чин в последний год царствования матушки Екатерины, я тотчас взял отпуск с твердым намерением выйти в отставку. И вдруг 6 ноября! Прискакал в Петербург и, зная уже о множестве перемен в гвардии, среди высшего чиновничества, тотчас и подал прошение на высочайшее имя об увольнении от службы. Прождал всего две недели. Получаю жданное, да с благословением! Чин полковника, право ношения нового мундира, стало быть, немецкого. Большинство капитанов капитанами и увольняли или же надворными советниками. От радости решил я представиться императору, благодарить. И на тебе! В самое Рождество является ко мне полицмейстер Чулков с приглашением к их величеству, а в сенях часовой: стало быть, арест. Надел я мундир полковничий, впервой, и поскакали. Привели нас к императору вместе с Лихачевым, другом моим, штабс-капитаном. Вводят прямо в кабинет, а там — все высшие вельможи, все генералы. Павел Петрович указал нам место против себя и достает письмо из своей шляпы. На столе. «Сие письмо, — говорит, — оставлено неизвестным человеком будочнику. В письме извещается, будто полковник Дмитриев и штабс-капитан Лихачев умышляют на мою жизнь. Слушайте!» Прочитал письмо и показывает на Архарова: «Отдаю вас в руки военному губернатору, коему поручил отыскать доносителя. Мне приятно думать, что все это клевета, но не могу оставить такого случая без уважения. Государь такой же человек, как и все, он может иметь слабости и пороки, но я так еще мало царствую, что едва ли мог успеть сделать кому-либо какое зло».

Бог не оставил нас. Клеветника, слугу брата Лихачева, сыскали на другой уже день. Павел Петрович к руке допустил и сам нас поцеловал. Меня так и словом удостоил: «Твое имя, Дмитриев, давно мною затвержено. Кажется, без ошибки могу сказать, сколько раз ты был в Адмиралтействе на карауле. Бывало, когда ни получу рапорт: всё Дмитриев или Лецано». Ну а кончилось тем, что я удостоился места за

овер-прокурорским столом в Сенате, а после коронации звания товарища министра в Департаменте удельных имений... Такова она, правда, о моих бедах при Павле Петровиче.

— Ах, как же я сердился на Хераскова за его «Царя», — признался Андрей. — Хвалы Павлу Петровичу казались мне благословением тирании. Все эти жуткие указы, все эти полосатые будки, шлагбаумы, перегородившие город. Все эти вахт-вахтеры с их ором: пробило девять часов, пробило десять! Гасите огонь! Запирайте ворота! Ложитесь спать! А указ — обедать всем в час дня?! Вас я люблю, Иван Иванович! Но тот же Державин! Славил Екатерину, славил Павла, ныне катает оды Александру!

Дмитриев рассмеялся.

— За иную хвалбу пиитов жаловали генеральскими чинами, табакерками с алмазами, деревеньками... Есть у меня стишата «На случай од, сочиненных в Москве в коронацию».

*Гордись пред галлами, московский ты Парнас!
Наместо одного Лебренья есть у нас:*

*Херасков, Карамзин, князь Шаликов, Измайлов,
Тодорский, Дмитриев, Поспелова, Михайлов,
Кутузов, Свиньина, Невзоров, Мерзляков,
Сохацкий, Таушев, Шатров и Салтыков,
Тупицын, Похвиснев и наконец — Хвостов.*

— И себя не пощадили! — удивился Блудов.

— Да ведь я такой же!

За кофе гости стали просить Ивана Ивановича почитать новые, еще никому не ведомые стихи.

— Редко ныне Муза меня посещает, — признался поэт. — Видно, от чиновничьей службы никак не отойду. За весь нынешний год сочинил басню «Петух, Кот и Мышонок» да сказку про царя и двух пастухов. Прочту прошлогоднее.

Природу одолеть превыше наших сил:

Смиримся же пред ней, не умствуя нимало.

«Зачем ты льнешь?» — Магнит Железу говорил.

«Зачем влечешь меня?» — Железо отвечало.

Прелестный, милый пол! чем кончу я рассказ,

Легко ты отгадаешь;

Подобно так и ты без умысла прельщаешь;

Подобно так и мы невольно любим вас.

Улыбнулся. Взял со стола «Слово о полку Игореве» и подал Жуковскому:

— С самого начала давай!

А когда уже прощались, вдруг прочитал, по-ложла руки па плечи Василия Андреевича:

*На персях тишины, в спокойствии блаженном
Цвети с народами земными примиренный!
Цвети, великий росе! лишь злобу поражай! —*

и весело посмотрел на его друзей: — Достоин барм русского пиита сей сочинитель?

Василий Андреевич вспыхнул как маков цвет, но Андрей сказал:

— Они его по призванию!

ЭЛЕГИЯ

У Соковниных на свечах не экономят. На дворе — октябрь, близится ноябрьская вселенская тьма, а здесь — Дом Света!

Андрей Тургенев наконец-то согласился читать свои стихи. Пылкий ниспровергатель Карамзина, он Карамзину представил свою «Элегию», и Николай Михайлович благословил в Андрее молодую русскую поэзию. Молодую и — главное — новую.

Гостиня у Соковниных — образ чистоты. Белые стены, белые кресла, белые вазы. На белоснежных драпировках проступают едва уловимые узоры. Не цветы, не изморозь, а что-то древнее. Человеколикие птицы, человеколикие крылатые грифоны. От сей древности, от загадочного, едва проступающего мира сердце щемит сладостной надеждой. Все тут влюблены, и все в отчаянье, все счастливы, а в груди у каждого слезы. Может быть, всё еще детские.

Андрей — рыцарь Екатерины Михайловны. Екатерина Михайловна боготворит гений Андрея. Анна Михайловна, забываясь, смотрит на Александра и вдруг — платок к глазам и — с глаз долой. Тургеневы не пара для старого московского барства.

Соковнины через боярина Бориса Ивановича Морозова, женатого на сестре царицы Марии Ильиничны, в свойстве с Романовыми. Свойство сие оскорблено неистовым супротивничаньем царю Алексею Михайловичу

мученицы Федосьи Морозовой — вдовы Глеба Ивановича. Однако ж опала родовитости не умаляет. И, увы, ни талант, ни ум, ни великая ученость мостов над пропастью худородства возвести не в силах. Разве что маршальские чины, но Тургеневы стремятся не в службу, в университеты.

Жуковский приехал с Митей Блудовым, припоздал, Андрей уже начал чтение «Элегии», и Василий Андреевич Марии Николаевны Свечиной не увидел. Она сидела за клавином. Василий Андреевич даже поклонился ей, но не разглядел, кто это. Андрей читал:

Что счастье?

*Быстрый луч сквозь мрачных туч осенних:
Блеснет —*

*и только лишь несчастный в восхищеньи
К нему объятия и взоры устремит,
Уже сокрылось все, чем бедный веселился;
Отрадный луч исчез, и мрак над ним сгустился,
И он, обманутый, растерзанный стоит
И небо горестной слезою укоряет!*

Так! счастья в мире нет;

и кто живет — страдает!

Василий Андреевич встрепенулся, поднял глаза. Мария Николаевна кивнула ему: это про нас.

Он больше ничего не слышал: сердце подкапало под самое горло. Опомнился, когда Андрей читал предпоследнюю строфу:

*Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
Чувствительным Творец награду положил.*

*Дарил несчастных он — чем только мог — слезою;
В награду от Творца он друга получил.*

Все посмотрели на Жуковского.

Чтение было кончено.

— Как грустно! Господи, как грустно! — едва слышно сказала со своего места Мария Николаевна.

Екатерина Михайловна положила ладони на голову Андрея, поцеловала.

— Господа! Мы, слава Богу, молоды! Наше отчаянье — это молодость. Нам даровано высшее, что есть у Творца. Наша любовь — святая.

— Позвольте и нам с Жуковским молвить

слово о любви! — поклонился девам непроницаемо серьезный Митя Блудов.

*— О ты, которая пришла
Меня к себе красы иглой
И страсть любовну закрепила,
Как самый лучший шов двойной.*

Се объяснение портного в любви посвящается надменному тевтону, батюшка коего хлеб добывал иглою, что не стыдно, стыдно откращиванье от родства.

— Да кто же это? — не поняла Екатерина Михайловна.

— К сожалению, птица не знаменитая, один наш знакомый, из немцев, надутый спесивец.

— Господа! Да что же мы! О чем говорим? — голос Вареньки дрожал. — Мы слушали дивно-го поэта! Тургенев! Боже мой!

Аннушка опять исчезла, потребовался платочек Екатерине Михайловне, Мария Николаевна смотрела перед собой, всем чужая, несчастная. У Жуковского кривились губы, Андрей побледнел, а братец его бессмысленно водил перстом по узорам на вазе.

Надобно было спасать всех сразу. Блудов вышел на середину гостиной.

— Господа! Узнаете ли вы поэта по двум строкам?

*Свет утешительный окрест тебя сиял,
Нам обреченный вождь ко счастью и славе.*

О ком это? Что за вождь?

— Жуковский об Александре, — сказал Андрей.

— Тургенев, с вас фанты не получишь. Сыграем в фанты, господа?

— Блудов, вы все еще мальчик! — Мария Николаевна шелкнула по клавишину веером. — Блудов... что это за фамилия такая? Блудов, блуд.

— Вот именно, Мария Николаевна! — Митя подошел к клавишину. — Мы ведем свой род от Ивещея Блуда — воеводы князя Ярополка. Ивещей Блудов предал своего сюзерена, заманил в западню, устроенную князем Владимиром, но пращуров, как и родителей, не выбирают... Впрочем, другие Блудовы верой и правдой служили Василию III, Иоанну Грозному...

— Дмитрий Николаевич самый молодой в нашем архиве, — сказал Александр, — однако ж он столь замечательно разбирается в тонкостях древней скорописи, что Домовой архива Бантыш-Каменский, старатель бумажных гор, ценит его более своего сына. Впрочем, сын Николая Николаевича такой же юнкер, как большинство из нас, из братьев.

— Наш архив — братский! — засмеялся Блудов. — Братья Тургеневы, братья Булгаковы, братья Евреиновы!

— О ты, которая пришла меня к себе красы иглой! — вдруг повторил стишки Андрей. — А ведь это весело, господа! Легко! Мастерски! Вот — будущее поэзии. Нынче она над жизнью, а станет жизнью.

— Скорее все-таки отражением, — не согласился Блудов.

— Жизнью! Для нас с Жуковским она и нынче есть жизнь. — Андрей обнял друга. — Простите, господа, растрепанность моих чувств, это во мне болит сиротство близкой разлуки. Мой перевод состоялся. Еду в Петербург 12 ноября.

— А я уезжаю послезавтра, — обронила Мария Николаевна, и сердце у Василия Андреевича провалилось в черную яму.

— Мы собрались не плакать друг о друге, а радоваться каждому из нас! — строго прикрикнула Екатерина Михайловна. — Андрей, читайте стихи!

*Сыны Отечества клянутся!
И небо слышит клятву их! —*

Андрей вскинул руки и тотчас посуровел, ни единого жеста более.

*О, как сердца в них сильно бьются!
Не кровь течет, но пламя в них.
Тебя, Отечество святое,
Тебя любить, тебе служить —
Вот наше звание прямое!
Мы жизнью своей купить
Твое готовы благоденство.
Погибель за тебя — блаженство,
И смерть — бессмертие для нас!*

Слушали как один человек.

*Когда вздохнем в последний раз,
Сей вздох тебе же посвятится!..*

«Он — слава России», — теперь и у Жуковского в глазах стояли слезы. Андрей все понял и заговорил о земном.

— Господа! А ведь поэзия, столь неосязаемая для многих, в недалеком будущем станет кормить поэтов. Купцы уже смекнули: стихи не худший из товаров. По крайней мере, содержатель типографии Московского университета Иван Попов дает Карамзину три тысячи рублей годовых не на издание, а за издание журнала, журнал будет называться «Вестник Европы», кстати, поэзия в нем желанна. Тираж для начала определен в шестьсот книжек, а там как пойдет. Николай Михайлович просил тебя, Жуковский, быть у него. Со стихами.

МЕДВЕДЬ ОДИНОЧЕСТВА

Земля поседела, измученная ожиданием зимы, солнце светило куда-то мимо.

Когда Василий Андреевич прикатил в коляске Юшкова к Тургеневым, все уже были в шубах и Кайсаров читал с листа свои стихи, посвященные отъезжающему другу.

*О ты, которого так много я любил,
Кого любезнее, всего милее чтил,
Чья дружба краткая мне счастье доставляла
И в одиночку грудь отраду мне вливала...*

Стихи были короткие, но не без надрыва.

*И мне назначено суровою судьбой
Далёко от тебя вести в тоске век свой.*

Все поднялись, расцеловались, старый слуга подошел к Андрею с иконою Божией Матери Путеводительницы. Андрей приложился, осенил себя крестным знаменем. Подмигнул Жуковскому:

— Трепещи, Петербург, Москва на тебя пошла!

Провожать Андрея, поехали отец, братья, Жуковский. Проводили до Черной Грязи, на двадцать шестой версте попрощались.

Уже через неделю Василий Андреевич получил от сердечного друга пространное письмо, вернее три письма в одном. В первом Андрей писал о Марии Николаевне. Писал с восторгом, будто это он влюбленный. Сравнивая супругов, Свечина называл «балалайкой», Марию Николаевну — «арфой». «Я смотрел на них вместе и чувствовал, что не так бы должно быть, если бы в этом мире царствовала гармония. Я знаю другой инструмент, который мог бы аккомпанировать, но вздохнем оба от глубины сердца. — И Андрей переходил в атаку. — Ты должен приехать и быть здесь. Между вами святая и невинная связь...» И далее с тем же восторгом, не замечая собственного бессердечия: «Мария Николаевна была в белом. Какая-то томность при свечах делала ее пленяющею».

Жуковский тотчас увидел эту томность, это бунинское в глазах, в очертаниях губ, пепельную дымку кудрей, а Тургенев с настойчивой беспощадностью передавал слова Марии Николаевны, сказанные о юном дядюшке своем: «Какой он милый (с чувством и неизъясимой приятностью)! Боже мой, как мне жаль, что здесь нет Василия Андреевича... Ах, как часто он бывает задумчив».

Сорваться и скакать в Петербург на последние гроши? Соляная контора хуже кандалов. Неволья, может, и не добровольная, но дающая пропитание.

Второе письмо Андрея — его ответ на письмо Екатерины Соковниной, третье — ее письмо к Андрею, пересланное Жуковскому для прочтения и совета. Письмо возлюбленной Тургенева сочинено было высоким слогом, но писала его женщина, для которой высокие чувства — дразнящая воображение игра, а продуманное, взвешенное замужество — жизнь непрерываемо правильная.

«Но ежели судьба нас определила на другое, — писала Екатерина Михайловна, — то мы заранее к тому подготовимся... Вас еще другая эпоха ожидает: слава! Стремитесь за ней, и она вас утешит... Не огорчайтесь обо мне. Надежда еще не умерла в моем сердце».

Вот и замена найдена: слава. И от отчаянных поступков защита: надежда.

Жуковскому было плохо в Москве. В январе отбыл в Петербург Митя Блудов. За ним —

Кайсаровы Паисий и Андрей. В начале февраля всем семейством подались в столицу Тургеневы. Иван Петрович желал учить Александра в Гёттингене, а лучше бы в Париже. Без аудиенции у императора такого вопроса не решить.

Жуковскому было так одиноко, что даже Соляная контора стала терпимой: заглядывала день, пусть бессмысленно, зато о себе некогда раздумывать.

«Дружеское литературное общество» Василий Андреевич перестал посещать. Без Тургеневых, без Кайсаровых Воейков навел своих приятелей-говорунгов, особенно красноречивых за бокалом вина.

Жуковскому открылось, что среди толпы одиночество горше, чем в четырех стенах или в лесу.

Ему был сон. Увидел себя медведем, поднявшимся из берлоги посреди зимы, шатуном.

Тогда он вытер ноги о свою деревенскую робость и постучался в дом Карамзина.

Уж если ты Карамзин, то в каждом русском доме, где умеют читать, ты член семейства. Об Отечестве беседа, о Слове и Боге, о материях всечеловеческих, тончайших — как же без Карамзина? Карамзин всякому русскому, почитающему себя ответчиком за весь белый свет, — первый товарищ. Даже самому заядлому спорщику, любое слово Карамзина подвергающему язвительному исследованию и полному даже отрицанию, — все равно свой. В России уж так заведено: я и Карамзин, мы с Николаем Михайловичем. А изречения кумира! «Русский в столице и в путешествиях разоряется — англичанин экономит». «Англичане живут в городе, как в деревне, и в деревне, как в городе».

Василий Андреевич трижды видел Карамзина. В пансионе, где говорил ему речь, на Никольской — Андрей Тургенев водил знакомиться, встретил однажды в лавке Бекетова, но чтобы один на один, чтобы занимать собою время Карамзина!..

Николай Михайлович принял родственника по-домашнему. На нем был халат черного без блеска бархата, белоснежная, с открытым воротом, рубашка, на ногах — татарские сапожки, мягкие, козловые и, кажется, без каблуков.

Великий писатель глянул на красные щеки собрата по перу, улыбнулся:

— Зимушка!

— Воздух скрипит, как снег под ногами.

Николай Михайлович рассмеялся:

— За вами хоть записывай. Елизавета Ивановна хочет вас видеть, но сначала побеседуем о делах. Тургенев перед отбытием в столичную службу приезжал проститься и оставил для прочтения ваш пересказ «Элегии, написанной на сельском кладбище». Произведение сие громко — знаменитое, оно — исток нового направления в мировой литературе. Сентименталист поэзию глагола с готических высот приблизил к земле и поместил в человеческом сердце. Поэзия деяний и поэзия чувства пока еще существуют параллельно, но обязательно сольются в единое русло. В вашем пересказе державинский наезд, громогласие, а картина-то хотя и печальная, хоть и касается вечного, жизни и смерти, но ведь деревенская. Обычная. — Николай Михайлович положил руку на руку Жуковского. — Даровитость ваша неоспорима и в этом варианте пересказа, однако от вас нужно требовать не просто лучшего, но в высшей степени превосходного. И вот мой совет: отстранитесь от Грея, от его английской жизни. Говорите о русском. Пусть кладбище будет у вас то же, что в Мишенском, — Елизавета Ивановна рассказывала мне об имени Буниных... Когда станете сочинять, держите перед глазами — родное. Но, может быть, вас удовлетворяет пересказ?

— О нет! — Василий Андреевич даже отстранил от себя листы своего же сочинения. — Я видел, насколько это беспомощнее элегии Андрея, но я не мог разглядеть причины своего поэтического недомогания.

Николай Михайлович снова засмеялся.

— Точнехонько подмечено. Уж когда впадешь в недомогание, никакими переменами слов, строк, строф неудачи не осилить. Коли не пошло само собою, смирись и отложи до лучших времен, а может, и оставь... Впрочем, стихи — наше потомство. Уродец бывает тоже дорог.

— Иные, не находя в своих сочинениях достойного, сжигают рукописи.

— Избави вас Бог от гордыни. Сожженные рукописи — гордыня, сокровище своей человечности. Слабости наши — самое верное проявление человечности!

— Николай Михайлович! — Жуковский встал, сел, снова встал. — Николай Михайлович, но это ведь вами сказано: гений не может заниматься ничем, кроме важного и великого. Вы предлагаете в пример Франклина, который, ставши ходоатаем человечества за свободные его права, не жил уже для себя.

— Верно, сие написано мною. Но, сколь помните, это пересказ лекции Платнера... Нет, я не сжигаю рукописей. Юная наивность, даже молодое наше высокомерие, — а от него бросает в жар и бывает ужасно стыдно, — для сочинителя драгоценность. Разве такое измыслишь, взявшись писать о молодых, а тут вот она, живая молодость, кладезь наших глупостей. В ранних рукописях опытный сочинитель обнаруживает порою удивительное откровение, темы великие. Сил когда-то не хватило объять все это... — Карамзин усадил Василия Андреевича. Наклоняясь, в глаза посмотрел: — Вы сожгли все свое... ранее?

— О нет! — воскликнул Жуковский. — Я мало что написал... Я все не решаюсь...

— Не умничайте, тогда и получится, — просто сказал Карамзин. — Наше перо умнее нас.

— Николай Михайлович! — Жуковский отирал о фалды фрака вспотевшие ладони. — В чем тайна вашего стиля? Я трижды перечитал «Письма путешественника». Наизусть многое помню. «Темнота ночи мало-помалу исчезает. Горы открываются от минуты яснее. Все дымится! Тонкие облака тумана носятся вокруг нашей лодки. Влага проникает сквозь мое платье, и сон смыкает глаза мои». Здесь же ничего... я хочу сказать, где же здесь... то есть высокое, великое? Так все просто. Но ведь хорошо!

Карамзин улыбнулся.

— Тайна стиля, говорите? Язык Карамзина, Жуковский, не безобразие, как о том пишут мои недоброжелатели, я отнюдь не чудо. Язык Карамзина — холсты. Я готовлю холсты, на этих холстах напишут иные поколения. И прежде всего поколение Андрея Тургенева, Василия Жуковского... Издание «Вестника Европы» — дело решенное. Я обязательно напечатаю «Элегию» Андрея Ивановича и очень жду вашу. Дерзайте...

— Я заберу это! — Василий Андреевич потя-

нулся к листам со своим пересказом «Сельского кладбища» Грея.

— С одним условием: новый вариант «Элегии» вы отдадите «Вестнику Европы!» — И Николай Михайлович подбросил и поймал медаль, лежавшую на столе. — Вот видите, пиитов тоже награждают. Медаль в память коронации.

Карамзин положил медаль перед Жуковским.

— Какова надпись! «Залог блаженств всех и каждого». Правда, колонна почему-то обрзанная. — Перевернул. — Государь молод — стало быть, и государство Российское помолодело. Удачно помолодело. Но мы ведем себя уже бессовестно. Елизавета Ивановна ожидает вас.

Они прошли в светлицу. Елизавета Ивановна сидела за пяльцами.

— Васенька! Я ведь помню вас, когда вы были радостью Мишенского — Васенькой. Не хочу вас называть иначе.

— Я готов убежать в Мишенское хоть сегодня! — признался Василий Андреевич. — У меня от Соляной конторы в мозгах скрипит.

— Всякая служба требует терпения! — улыбнулась Елизавета Ивановна.

— Ах, если бы одного терпения! Пресмыкания она требует. Ползанья на брюхе перед каждым, кто чином выше.

— Чиновничество — неизживаемое зло России. Первейшее! — согласился Карамзин.

— А крепостничество?!

— Тут дело сложное. Тут ведь немало хорошего, патриархального.

И Жуковский поймал себя на том, что маскирует свое недоумение миной заинтересованного слушанья.

ОТСТАВКА

Апрель исплакался. Шесть часов утра, знает, солнце уже взошло, но за окном — серая тоска.

Василий Андреевич разогнул спину — не заметил, как час пролетел. Неделя-другая — и первый том «Дон Кишота» будет кончен. Отложил перо — походить надобно, ноги размять. Шагая, взял с бюро письмо Андрея Тургенева. Андрей болен Москвою, как сам он Мишенским.

«Вспомните этот холодный сумрачный день, — письмо и к нему, и к Мерзлякову, — и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами... Вспомните себя и, если хотите, и речь мою; шампанское, которое вдвое нас оживило; торжественный, веселый ужин, соединение радостных сердец; вспомните — и вы никогда позабыть этого не захотите. Вы отдадите справедливость нашему Обществу. Его нет, но память о нем вечно будет приятнейшим чувством моего сердца».

Перед глазами стояли темно-багровые с огнем диваны. Дом Воейкова показался просторным, но чтобы развалившимся...

Увы! Общества уже нет. Сборник «М.Ж.Т.» лишь мечта...

Не апрель серый — жизнь.

Передернуло. Что за год?! Смерть императора, зловещие шепотки об этой смерти... Потеря возлюбленной, отъезд друзей, великое горе Карамзина... Елизавета Ивановна родила в марте дочь Софью, но роды были тяжкие, не оправилась. Могила Елизаветы Ивановны на кладбище Донского монастыря.

Василий Андреевич зажег еще три свечи, сел за стол, взял папку с либретто. Издатель Попов заключил договор на перевод оратории Гайдна. Либретто по мотивам англичанина Джеймса Томсона, написал немец Ван Свигтен. Предстояло англо-немецкое превратить в русское.

В стихах — солнце, когда солнце в сердце, а в сердце — мгла. Еще час времени — и явится Максим с кофе, с мундиром. Вью — в рабскую рогатку, и опять тащись среди сутулых московских улиц, страдая за измученную холодом весну. И для чего? Чтобы ухнуть в обморочную тишину Соляной конторы, убить полубездельем еще один великий день. А у Мясоедова подагра взрывает — Господи, избавь от высокого внимания их высокородия.

К директору пригласили, едва переступил порог конторы. Мясоедов, зеленый от немочи, потряс перед лицом розовощекого конторщика стопую бумаг.

— Вы смеете этак?

— Что я смею? — не понял Василий Андреевич.

Мясоедов кинул бумаги на стол и тыкал, тыкал в них перстом:

— Так фельдмаршалы пишут на поле брани. Размахался! Мелюзга тринадцатого разряда, но даже в начертании букв — непочтение!

— Вы старый дурак! — тихо сказал Василий Андреевич.

У Мясоедова отпала челюсть, он щелкал ею, но слов не было. Медленно поднял руку, указал на дверь. Жуковский вышел, сел за стол, ни к чему не притрагиваясь.

Минут через десять к нему подошел один из старших чиновников.

— Вам приказано покинуть присутствие.

Василий Андреевич поднялся, поклонился чиновной братии, не смеявшей даже глазами его проводить, вышел на воздух.

На черной в бусинах дождя ветке старой липы сидела синица и свистела, свистела что-то очень счастливое.

Николай Иванович Вельяминов уже через час прислал записку. Обещал уладить печальное недоразумение, но просил не мешкая поторопиться в Соляную контору, упасть Мясоедову в ножки, моля сыновнего прощения.

Василий Андреевич Николаю Ивановичу не ответил, в контору не пошел, сел переводить либретто.

Явилась полиция: за нарушение присяги по статье «Неуважение начальства» полицмейстер Москвы городского секретаря Жуковского подвергал домашнему аресту.

Арестант сел писать письма: в Петербург — Андрею, в Мишенское — Марии Григорьевне. Арест — дело громкое.

За своего воспитанника вступился директор Благородного пансиона Антон Антонович Прокопович-Антонский, его прошение поддержал вернувшийся из Петербурга Иван Петрович Тургенев. Волновались друзья — Мерзляков, Воейков.

Андрей прислал ответ уже на третий день: почта в старой России была быстрая. «Я не рад, очень не рад этому, что ты будешь в отставке, — писал огорченный товарищ, — но что же было делать на твоём месте? Если все еще можно поправить, я бы этого очень желал, но если тут оскорбится чувство твое, если будет хоть тень оскорбления для твоей чести, то делать нечего».

В начале мая пришло письмо из Мишенского.

«Нечего, мой друг, сказать, а только скажу, что мне очень грустно, — писала Мария Григорьевна. — Теперь осталось тебе просить отставки хорошей и ко мне приехать. Всякая служба требует терпения, а ты его не имеешь. Теперь осталось тебе ехать ко мне и ранжировать свои дела с господами книжниками».

— Судьба! — Василий Андреевич поцеловал письмо мудрой своей бабушки.

Сердце билось, замирая. Свобода! Жизнь вольного сочинителя.

Из Москвы укатил в конце мая, на сиреневую благодать поспешал.

МИЛАЯ РОДИНА

Туманы Оки слились с туманами Выры, затопили равнину и, клубясь, потекли в ложок между имением Буниных и Васьковой горю. Беседка свободного сочинителя Жуковского превратилась в корабль, плывущий по облакам.

Писательскую жизнь Василий Андреевич начал не с покупки стада гусей на перья. Он приготовлял себя к созерцанию. Отец и мать поэзии — уединение и созерцание. Погубитель высших устремлений человечества — чиновничья суета, страсти вокруг общественного пирога. Почитая себя другом вечности, Василий Андреевич похерил в Соляной конторе самому возможность роста по табели рангов. Там она, у Мясоедова, жуткая лестница чинов, звезды и кресты. Каждая ступенька мясоедовой лестницы — призрак полезности и нужности. И верный путь в пустоту забвения.

Оседлавши облака, сошедшие ради поэта с небес на землю, Василий Андреевич не токмо душою, но кожей чувствовал единение с Творцом.

Вот она, его надмирная башня.

Плотник Пров с двумя сыновьями за день поставили беседку — точь-в-точь по его рисунку. Васькова гора — вершина не ахти какая — бугор, но с этого бугра он судия столетиям, житель Вселенной. Поэзия вздымалась в нем, как вешняя вода перед плотиной. Ища в себе поэму, страдая, ибо поэзия, не ставши словом, все равно что вера без храма, Василий Андреевич изводился за каждый потерянный день.

И, чтобы чудо не умерло в сомнениях, не иссякло, не сыскав выхода, он принес нынче в беседку элегию Томаса Грея и свой пробный перевод. Стихи перевода блеклые: Карамзин — добрый, мягкий человек — не испепелил, но подал даже надежду...

Туман возле сиреневых зарослей имения — сиреневый... Коровы замычали. Стадо спускается с Мишенского холма в белую пучину. Коровы то ли идут, то ли плывут по молочному морю.

Погрезился и запах молока. Когда стадо возвращается вечером в деревню, поднятая пыль, трава, сам воздух — пахнут молоком.

Перо само собой побежало по белому листу:

*Уже бледнеет день, скрываясь за горю;
Шумящие стада толпятся над рекой.
Усталый селянин...*

(В голове чередою рифмы: рукою, покою, порою)

*медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.*

Утро, но перед взором почему-то поздний вечер.

*В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина, повсюду мертвый сон...*

Со дна молочного моря шумно выпархивают утка с селезнем. Хлопотливо трепеща крыльями, летят навстречу потокам света.

*В туманном сумраке окрестность исчезает.
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.*

Все это правда. Вчера они с матушкой, с Елисаветой Дементьевной, засиделись вечером на лавочке, и майские жуки прилетали вдруг из потемневшего сада, а где-то у Фатьянова звенел и звенел колоколец заблудившейся коровы.

...Вспомнилось детство, тяга к полетам полуденных сов. В имении были две деревянные башни, и в них жили совы.

*Лишь дикая сова, таясь под древним сводом
Той башни, сетует, внимаема луной,
На возмутившего полночным приходом
Ее безмолвного владычества покой.*

*Под кровом черных сосен и вязов наклоненных,
Которые окрест, развесившись, стоят,
Здесь праотцы села, в гробах уединенных
Навеки затворяясь, сном непробудным спят.*

Лицо горело, ужасно хотелось хлеба.

Василий Андреевич положил руки на лист, словно написанное могло улететь, как улетели селезень с утицей.

Вдруг сделалось горько. Отца он знал стариком. Раздумался о матушке. У нее были мать, отец, его дедушка, бабушка. Может быть, они живы, не ведают о внуке. А пращуров той солнечной страны? Над их могилами ветры моря, ветры гор. Земля же там — история человечества. Эллины, византийцы, крестоносцы, османы...

Стало жарко. Поглядел на лужок: куда же исчез туман, а небо — ни единого облака.

Опять захотелось хлеба, и он поспешил домой. Думал, что промочит ноги, но луг порос манжеткой. Тяжелые капли росы сияли со дна рифленых чаш.

Он увидел босоногих детей с лукошками — в такую рань за щавелем бегали. Капуста, знать, кончилась, а без щей какая жизнь!

Увидел старика с вязанкою лозы: будет плести корзины.

Уплыл в себя, и вдруг в ноги подкатилась счастливая от встречи собака. Кофейно-крапчатый ливер-бельтон. Его догонял крестный матушки Дементий Голембевский.

— Узнала своих? — старик показал ведро, полнехонькое ершами. — Приходи на уху. Кстати, у меня на псарне пополнение. Курцхаара в Белёве купил. На осенней высыпке все вальдшнепы будут наши.

— Я не охотник, — повинулся Василий Андреевич.

— Куда ты денешься? Бунинская порода.

Василий Андреевич улыбался: ему подумалось, что он тоже возвращается домой с уловом. Четыре строфы прилетели в его тетрадь. Душа их привела, как приводит за собою верный голубь стаю прекрасных птиц.

Завтракали всем семейством за большим столом.

Во главе — барыня Мария Григорьевна, по правую от нее руку — Елисавета Дементьевна. Далее — дочери покойной Варвары Афанасьевны Юшковой. Анне — шестнадцать, Маше — четырнадцать, Дуне — двенадцать. По левую руку от хозяйки Мишенского — Ольга Яковлевна.

Мария Григорьевна, целуя Васеньку в точные бровки, показала сесть напротив себя.

— Раннюю птаху Бог золотыми зернами кормит. В пять часов, небось, вскочил?.. Господи! Никак не привыкну к тебе. Длинный, в бабьих кудрях.

— Бабушка! — Анна даже стулом двинула. — Он — поэт! Парики теперь вчерашний день.

— Знаю, что поэт! — и уж так тяжело вздохнула, будто поэт — воз неподъемный.

— Жуковского вся Москва знает! — не сдавалась отважная защитница.

Василий Андреевич подошел к матушке, поцеловал ей руку.

— Помолимся, — Мария Григорьевна поднялась с креслица. — Друг мой, молитву читай.

Только теперь Василий Андреевич сообразил: он в царстве женщин единственный мужчина — единственный мужчина в доме.

Дуняша, похорошевшая, умноглазая, спросила, опуская ресницы:

— Василий Андреевич, а вы с московскими поэтами водили знакомство?

— Я дружен со сверстниками: с Андреем Тургеневым — это будет великий поэт, с Воейковым, с Родзянко. В пансионе было немало сочинителей. С Алексеем Федоровичем Мерзляковым, он теперь профессор университета. Встречался в лавке у Бекетова с Василием Львовичем Пушкиным, был у Ивана Ивановича Дмитриева.

— А Карамзин? Каков он? Это же океан таланта и ума.

— Какие вы дурехи! — ахнула Мария Григорьевна. — Умен тот, кто без роду-племени, а генералы!

— Карамзин — слава России, — поперечила бабушке неугомонная Анна.

— Слава не масло — на хлеб не намажешь. У Василия Андреевича тоже, небось, слава.

— Карамзин в обращении ласков. Он совер-

шенно доступный человек, — не давая разразиться грозе, поспешил с рассказом Василий Андреевич. — Мы говорили с ним об элегии Андрея Тургенева, о моей элегии. Николай Михайлович нашел мои наброски обнадеживающими... И сегодня, кажется, я сыскал ключ к «Сельскому кладбищу». Четыре строфы почти готовы, а может быть, и вполне даже готовы.

— Почитай! Почитай! — потребовала Анна.

— Мне пора навеститься на почту, и я обещал быть у Екатерины Афанасьевны. Вечером — к вашим услугам.

Екатерина Афанасьевна имела дом в Белёве. Не пожелала вести жизнь приживалки возле властной матушки.

Во дворе крестника окликнул старик Жуковский.

— Далеко ли?

— В Белёв.

— Да что же пешком, я еду в Спасо-Преображенский за свечами да в Крестовоздвиженский. Моя Ольга Яковлевна матушке Матроне медку просила отвезти.

Неторопко прокатиться на лошадке лугами тоже хорошо.

Заговорили о Екатерине Афанасьевне.

— Гордая женщина! — вздыхал Андрей Григорьевич. — Господи, ей уж за тридцать, но ведь первая красавица в Белёве. Первейшая! Однако ж вдовствует строго. Черного платья так и не сняла. Ради дочерей живет... Про пожар-то тебе, должно быть, матушка отписала?

— Мне о недобром не сообщают.

— Пожар случился — вовек небывалый! Половина города — в прах. Огонь-то на монастырь перекинулся. В Крестовоздвиженском — матушки, но отстояли обитель, отмолили, а Спасо-Преображенский два дня полыхал. Колокольня сгорела! Было семь колоколов — стал единый слиток меди. Нарочно взвесили — 298 пудов потянул. Уж такой ветер бушевал — головни в Оку летели. Как змей, шипела рекато!.. Всё — новый герб, Павлом Петровичем дарованный.

— А какой у Белёва герб?

— В голубом поле золотой ячменный сноп, а из сего снопа — пламя! О Господи, прости Ты нас, грешных! Так я тебе скажу, Васенька, что ни делается — к лучшему... Ты, небось, дума-

ешь — в Белёве черно и трубы торчат... Новехонький Белёв. План из Петербурга доставили. Улицы — как стрелы. Муравейника больше нет. Купчики-то наши, на хлебе, на пеньке, на семени конопляном — великие тысячи огребают. Прежде жили — теснились, а теперь что ни дом — дворец. На широкую ногу пошла жизнь: денежки напоказ. Да и слава Богу, чего ради нищими притворяться!

Дом Екатерины Афанасьевны Протасовой стоял на Крутиковой улице. Улица заканчивалась гусиным лужком и обмиранием сердца. Под ногами разверзалась изумрудная травяная бездна, на дне — Ока лентой, за Окою — простор. Неоглядный. Лопатки чесались — до того хотелось крыльев.

Екатерина Афанасьевна в пронзительно белом чепце, в черном бархатном платье при виде Васеньки одолела оцепенение своё, ожила.

— Боже мой! Господи! Свет ты наш! Василий Андреевич! В уединение наше! В затвор белёвский!

— Коли Белёв, стало быть, бел, — Василий Андреевич, расцелованный в щеки, тронул губами мраморную руку... сестрицы. — Чиновную прозелень мою смывать где как не в Выре?

— Что прижукнулись?! — подзадорила дочерей Екатерина Афанасьевна. — Встречайте свое счастье.

Семилетняя Саша, раскрыв объятия, налетела с такой прытью, что пришлось ее подхватить, и она очутилась на руках, выставляя губки, чмокала Василия Андреевича в щеки, в глаза, в нос.

— Фу! Александра! — возмутилась Екатерина Афанасьевна.

— Самый! Самый! — Сашенька положила головку на плечо своему другу.

— Немедленно сойди с рук! — приказала матушка.

Маше было девять лет, она подошла к Василию Андреевичу, робея, поклонилась.

— Маша, да поцелуй же ты Василия Андреевича! — снова возмутилась Екатерина Афанасьевна.

Щечки у Маши запыхтели, она крепко зажмурилась, губки у нее были как огонь.

Василий Андреевич привез девочкам целый зверинец глиняных игрушек: длинношее по-

лосатые олени, кони, коровы, наседка с цыплятами. Все полосатые, из соседнего Филимонова. Был еще золотоголовый, с зеленой шейей, с красным телом — то ли козел, то ли баран. Был и пастух на трехглавом коне.

— И вот, вот! — Василий Андреевич достал из саквояжа кожаную золоченую папку, а в папке — литографии зверей, птиц, рыб со всего света.

— И вот, вот! — снова сказал Василий Андреевич, выставляя резную шкатулку в виде замка.

Вставил ключ в ворота. Повернул. Тотчас пропела труба, распахнулись двери. В дверях появился принц. Встал на одно колено, протягивая дамам цветок. Цветок — колокольчик, зазвенел раз, другой, а потом ещё, и ещё, но тише, тише.

— Прелесть! — сказала Екатерина Афанасьевна. — А у меня тоже есть подарок.

И принесла из своей спальни серенькую книжицу «Вестника Европы».

— Здесь «Элегия» твоего друга Тургенева.

Жуковский открыл заложенное место.

— Андрей! — поцеловал страницу. — Так вот являются в мир великие поэты!

Посмотрел счастливыми глазами на девочек. Маша, склоня головку, разглядывала литографию прекрасноокой жирафы, а Саша дула в глиняные свистульки. Во все по очереди.

— Васенька, что ты наделал! — сказала уши Екатерина Афанасьевна. — Александра, ты меня оглушила.

Василий Андреевич поднял над головою папку с литографиями.

— Предлагаю состязание! — Девочки радостно воззрились на своего любимца. — Берем по листку, никому не показывая, смотрим, изображаем, что там, на картинке, а все отгадывают, кто сей зверь.

— Чур, первая!

Саша схватила листок, затворилась в спальне.

Ее зверек бегал по комнате и облизывался, бегал и облизывался.

— Угадали?

— Кот, сожравший масло! — сказала Екатерина Афанасьевна.

— Волк, — предположила Маша.

— Лиса!

— Лиса! Лиса! — закричала Саша. — Жуковский, миленький, ты угадал!

— Лиса? — Василий Андреевич поднялся с дивана и так прошел по гостиной, так зыркнул на глиняного петуха, так ему улыбнулся, что Екатерина Афанасьевна захлопала в ладоши.

Маша, не заглядывая в лист, встала на одну ногу, а руки поставила коромыслом.

— Цапля! — сказала Саша. — Но вообще-то чучело.

— Василий Андреевич, изобрази нам цаплю! — попросила Екатерина Афанасьевна. И ахнула: — Копия!

Девочки от восторга чуть было не уронили стоявшую на одной ноге цаплю.

— Наш Жуковский! Наш Жуковский! — кричали они друг перед дружкой, позабывши все уроки французского воспитания.

МИР С ВАСЬКОВОЙ ГОРЫ

Матушка Елисавета Дементьевна проснулась раньше своего ненаглядного жаворонка. Ожидая его, собирала букет в цветнике под окнами господского дома.

Взяла сына под руку, повела к часовне, к усыпальнице семейства Буниных.

Часовенка была открыта. Перед иконою Спаса горела лампадка.

— Эта часовенка, когда ты родился, была церковью, — сказала матушка. — В ней тебя крестили.

— Мама! — Он взял ее за руку. — Скажи что-нибудь по-турецки.

— О Аллах! Хер бир чичек бин наз иле овер Хаккы нийяз иле. Каждый цветок хвалит Бога на тысячу ладов. В молитвах.

— Цветы живые, я это знаю... Но, мама, твоя прежняя жизнь... — Он не умел выразить мысли, но Елисавета Дементьевна поняла его.

— Во сне мне чудится, что прежняя моя жизнь была сном. Я родилась сразу взрослой, способной рожать детей... У тебя были три сестрицы.

— У меня были сестры?! Но где они?

— Они ангелы, умерли младенцами.

Елисавета Дементьевна положила цветы на плиту, под которой упокоился Афанасий Иванович. Встала на колени, помолилась, поцеловала камень.

— Мама? — спросил Василий Андреевич. — Ты была хоть немножечко счастлива?

— Я осталась живой, когда горел мой город. Меня отдали хорошим людям. Я родила тебя, и ты не умер.

— Но мама?! А рабство?! Ты ведь извела рабство!

— Рабство? Я женщина. Меня любили, я люблю моего сына, я не крепостная.

— Однако ж Мария Григорьевна...

— Васенька, барыня без меня жизни не чаёт. Мне с ней покойно. Но я женщина. Я хочу свой дом. Крышу. Пусть соломенную, да свою. Чтоб и тебе было куда привести мою невестку. Я снова хочу детей. Твоих. Много-много!

Он опустил перед матушкой на колени.

— Я построю дом. На самом лучшем месте в Белёве. Сей дом будет домом Сальхи!

— Что Сальха? Моя хранительница — чудотворица Елисавета. Даже прах с ее могилы дарует слепым прозрение. — Она перекрестила его. — Ступай на свою гору. Я счастливая, когда ты рядом. Ступай, помолюсь.

Он пошел из часовни, оглянулся в дверях. Она его перекрестила еще раз.

— Отца не суди!

Он смотрел с Васьковой горы на Мишенское, и в сердце его закипали слезы.

Он любил кормильцев имения, он любил степенные, серьезные лица мужиков, искреннюю ласку женских глаз. Он видел в этих глазах: о нем всё знают, его любят за странную судьбу его матушки, им гордятся: из рабов, такой же, как они, но — барин. Он убеждал себя: крестьянский труд единственно вечный и угодный Богу, стало быть, столь же высокий, как поэзия.

Стихи выпорхнули из сердца, будто птицы из клетки:

*Как часто их серпы золотую ниву жали,
И плуг их побеждал упорные поля!
Как часто их секир дубравы трепетали,
А потом их лица кропила земля!*

*Пусть рабы сует их жребий унижают,
Смеясь в слепоте полезным их трудам.
Пусть с холодностью презрения внимает
Таящимся во тьме убогаго делам...*

Вернулся с Васьковой горы счастливый. Его встретила Дуняша, просияла:

— Я вижу — получилось?!

— Получилось.

— Почитай! Почитай нам с Аннушкой.

— Я почитаю вам «Элегию» Тургенева.

— И твою!

— Но моя не кончена.

— Если ты нам почитаешь, дальше пойдет ещё прекраснее! — подкатились лисичками сестрицы Юшковы.

Василий Андреевич уж было сдался, но приехал сосед по имени Федор Вендрих. Приехал с «Вестником Европы» № 13, где «Элегия» Андрея Тургенева.

Читать вызвалась Анна. Читала с угрюмой кладбищенской медлительностью. Василий Андреевич знал сочинение друга наизусть, подхватил, страстно вливая жизнь в строки:

*Напрасно хочешь ты, о добрый друг людей,
Найти спокойствие внутри души твоей...
Пусть с доброю душой для счастья ты рожден,
Но, быв несчастными отовсюду окружен,
Но бедствий ближнего со всех сторон свидетель
Не будет для тебя блаженством добродетель!*

— Это сказано Карамзину! Дочитаем «Элегию», и я представлю вам совсем новые стихи Андрея Ивановича. Я письмо от него получил. «Элегия» и стихи были приняты с восторгом, Вендрих восторги разделял, но улыбался покровительственно:

*— Лей слезы над самим собою,
Рыдай, рыдай, что ты живешь!*

Сей леденящий душу ветер явно с английско-го погоста. Я — поклонник немцев. И, поверьте, не потому, что немец. Фатерлянд для меня — Белёвский уезд. Дорого мне в сочинениях Шиллера, Бюргера, Гебеля, Шписа, Гёте не философская надутая неприступность, но дух мечты, а мечта не что иное, как удесятеренная жажда жизни!

Добродушно, буднично прочитал лукавые стихи Иоганна Гебеля.

— Это какие-то крестьянские забавки! — пожал плечами Анна. — Я даже не всё поняла.

— Гебель пишет на аллеманском наречии. Его называют народным писателем, но он не крестьянин. Он сын пастора и сам пастор. Впрочем, у нас в России пока еще не понимают: титул «народный писатель» для писателя степень высочайшая! — и поклонился Жуковскому: — Приезжайте ко мне. У меня есть несколько романов Вецеля, есть Гебель, есть стихи Готфрида Бюргера и даже рыцарская драма его ужасной третьей жены Элоизы.

— Поэт-троеженец! — пришла в ужас Дуняша.

— Бюргер — великий от Бога, но столь же и великий неудачник, — развел руками Вендрих. — В молодости он был большой гуляка. Увы! Его первая жена умерла от горя, ибо наш романтический пиит страстно влюбился в ее младшую сестру. Фрау Молли стала его второй супругой, да счастье их было короткое. Через полгода Молли умерла. Тогда-то и объявилась Элоиза Ган. Эта смелая женщина, Бюргер называл ее «швабской девушкой», сама предложила ему руку и сердце. Они венчались, но не минуло трех недель, как «швабская девушка» наставила поэту рога. Через год с небольшим она навсегда покинула несчастного Готфрида, и суд их развел.

— Ах, не говорите о несчастных! — воскликнула в сердцах Анна. — Пусть все, кто в этой комнате, будут любимы и знамениты!

— Ты хочешь быть знаменитой? — изумилась Дуняша.

— Не женское дело?! — вскинула бровки Анна. — Но нам с тобой не надо быть фельдмаршалами. Чем знаменита Лаура? Да только тем, что была любима.

— Но Петраркой! — улыбнулся Вендрих.

— У нас есть и другой путь к славе! — не сдавалась Анна. — Родить гения. Вот Елисавета Дементьевна свое бессмертие уже обрела.

— Аннушка, уймись! — замахал руками Жуковский.

— А ты молчи! Ты слова не держишь!

— Но ведь не кончено. У меня только четырнадцать строк... И это тоже кладбищенское, английское, хотя, думаю, вполне по-русски.

Читать все-таки пришлось, а четырнадцатая строфа даже Вендриха тронула, четырнадцатая строфа о крестьянах:

*Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,
Урюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.*

— Это надо послать в «Вестник Европы»! — решила Анна.

— Сначала надо бы закончить! — отирая платком вспотевший лоб, улыбался Василий Андреевич.

— Это Карамзин обязан напечатать! — согласилась с сестрицею Дуняша. — Это важно для России.

СВЕРШИЛОСЬ

Снег за окном падал так густо, так медленно, что Василий Андреевич чувствовал тяжесть снегопада на ресницах.

Царству ноябрьской темени пришел конец. А вот «Дон Кишоту» конца не было.

Водрузил на стол очередную страницу. Накинул лисью шубу на плечи и без шапки вышел из флигелька порадоваться зиме.

Постоял под осыпающимся небом, может быть, минуту и увидел, что превращается в сугроб. Поспешил с радостью в барский дом.

— Простудишься! — ахнула Мария Григорьевна, а его пронзила нежность: голова бабушки тоже была в снегу — в не тающем.

На завтрак ему подали яйцо. Одна пеструшка все еще неслась.

Из постов Мария Григорьевна, а стало быть, весь дом, блюла Великий. Перед кофием — говяжьи языки, ветчина, золотисто-прозрачный холодец с хреном. От сытной еды утром тоже дремлет. Мария Григорьевна отправилась в светелку соснуть под жужжанье веретен и прялок.

Василий же Андреевич коротал дремотный час с матушкой. Комната у Елисаветы Дементьевны угловая, в два окна: на юг и на запад. Свет — радость доброму человеку. Топилась голландка. Василий Андреевич, усевшись на половичок перед печью, подкидывал в огонь поленья. Матушка вышивала. Ее вышивки немудрены, крестиком, но она любит, чтоб руки были заняты: дело делается, дому — прибыль.

Разговаривали мало, им и помолчать было сладко. В Мишенском два знатных молчуна: Андрей Григорьевич да Елисавета Дементьевна.

— Для нашего дома вышиваю! — матушка отстранила от себя работу. — Пригоже ли?

— Закончу перевод книги — заработаю немножко. Да ведь и капиталец, слава Богу, не весь я проучил...

— То на черный день! — строго сказала матушка. — А сколько тебе платят за книжки-то?

— За «Мальчика у ручья» издатель дал семьдесят пять рублей.

— Хорошие денюжки! — матушка вдруг приставила ладонь к уху. — Никак бубенцы?

Колокольчик Василий Андреевич услышал минуты через три.

— Матушка, какая же ты слухменная! — поспешил встречать кого Бог привел.

Прикатила с дочками Екатерина Афанасьевна. Из санок аж выпорхнула, взбежала на крыльцо — и ну целовать братца.

— Свершилось! — Достала из-под шубки серенькую книжицу «Вестника Европы». — Семь страниц заняла твоя «Элегия».

Василий Андреевич тотчас принялся листать журнал.

— Триста девятнадцатая страница! — подсказала Машенька.

Открыл триста девятнадцатую. Стихи — с половины страницы, под прозой: «Сельское кладбище, Греева Элегия, переведенная с английского. (Переводчик посвящает А.И.Т. — у.)» Подписано: Жуковский. Крещение от Карамзина. Свои стихи в журнале пансиона и в иных подписывал: Жуковский.

— «Я наречен в российские пииты».

Должно быть, у него лицо светилось, чуткая Сашенька подскочила:

— Наклонись!

Наклонился. Подпрыгнула, чмокнула в щеку.

— Вы со своими поцелуями заморозите Василия Андреевича! Все в дом, в тепло! — Екатерина Афанасьевна была известной командиршей.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

Всю ночь великан стены ломал. Пробудившись, как всегда, задолго до света, Василий Андреевич вышел на крыльцо и ахнул: флигелек со стороны Мишенского занесло по трубу, высокий барский дом — по окна. Вместо деревни — бело, выдуло деревню за ночь, унесло за тридевять земель.

— А дымы-то стоят! — улыбнулся Василий Андреевич: где зимой дымы — там жизнь.

Потрогал рукою воздух: неосяземо. Неосязем наступающий день, а ведь 29 января — день рождения, а ныне так день двадцатилетия.

В тепло, к столу, и вот уже перо помчалось по бумаге.

*О, лира, друг мой неизменный,
Поверенный души моей!
В часы тоски уединенной
Утешь меня игрой своей!*

Стихи себе и друзьям, без тайн и хитрости иносказаний. В открытую жаловался, но кому — друзья далеко, а иные так и очень далеко, — стало быть, бумаге.

*Для одиноких мир сей скуден,
А в нем один скитаюсь я!*

— кричал в Геттинген Сашке Тургеневу, счастливому студенту, кричал Кайсаровым, должно быть, в Сербию, а может, и в Черногорию, в Париж — Митьке Блудову, в Петербург — Андрею, в Москву — Воейкову с Мерзляковым.

*Не нужны мне венцы вселенной,
Мне дорог ваш, друзья, венок!
Но что чертог мне позлащенный?*

В молодости чертогами, коих в помине нет, разбрасываются не задумываясь, а чертог, да уж такой раззолотой, ждал своего постояльца...

Грустными вышли праздничные стихи. Достал листок со строками, посвященными Марии Николаевне Свечиной.

Протекших радостей уже не возвратит...

После Греевой элегии написалось всего два стихотворения. Впрочем, прозой начат «Вадим Новгородский», начат перевод Антона Феррана «Дух истории, или Письма отца к сыну о политике и морали». Митя Блудов прислал из Парижа все четыре тома. Андрей согласился взять на себя половину, но у него пока что текста нет. Братец Александр даже в просвещенном Гёттингене не может сыскать книги, к себе зовет, расхваливает профессоров — Шлёцера, Бутервека. История, эстетика. Переслал через Андрея новую драму Шиллера «Орлеанская дева». Могучее творенье. Тоже надо перевести.

Василий Андреевич поднимает глаза на портреты, присланные Александром. Портреты над столом: Шекспир и Шиллер. В лице Шекспира непроницаемая тайна, ключ к сей тайне сокрыт куда как надежно — во глубине веков. Шиллер — юноша. Его драмы — крик отчаянья, крик в зев тьмы вселенной, а на лице одна мечтательность. Художника вина или недомыслие современников?

Тут и солнце взошло. Полыхнули окна яхонтами.

— Вот я и родился! — сказал себе Жуковский.

На именинный пирог — творенье счастливой Елисаветы Дементьевны — собрались свои: Мария Григорьевна, Екатерина Афанасьевна с Машей, с Сашей, Мария, Анна и Авдотья Юшковы, Андрей Григорьевич, Ольга Яковлевна да Голембевский. Ради праздника заядлый охотник облазил соседние леса и добыл дюжину тетеревов. Пиршество вышло самое что ни есть барское.

В своей здравце добрый пан Голембевский пожелал пииту влить Музе отменную пулю — в яблочко. Екатерина Афанасьевна — творений и славы не меньше, чем у Державина.

— Что вы носитесь с вашей славой! — осерчала Мария Григорьевна. — Желая тебе, Васенька, разумной жизни без нужды, детишек, радостей семейных.

Матушка Елисавета Дементьевна вовсе ничего не сказала, перекрестила сына и расплакалась.

Завершил здравцы Андрей Григорьевич.

— Ах, ласковый ты мой! Слава, разум, книж-

ки — что сие без Божьего благословения? Прах! Один только прах! Будь жив, Василий Андреевич, Господним водительством да любовью благодатной. Будь у Христа — словом!

Покушали с удовольствием, помянули Афанасия Ивановича, песни спели, Василий Андреевич поиграл в шарады с дочками Екатерины Афанасьевны, а с Машей так даже посекретничал. Девочка призналась: когда ей очень грустно, она плачет, но точно так же из глаз ее катятся слезы, когда ей очень даже хорошо. Маман сердится. Маман слез не терпит.

— Я такой же, как ты! — признался Маше Василий Андреевич. — Чтобы не плакать, когда мне хорошо и особенно — когда мне тягостно, я пишу стихи... А ты пиши свой журнал. Заведи тетрадку и записывай самые дорогие для тебя мгновения жизни. Записывая, ты сохранишь все эти драгоценные мгновения живыми. Они будут с тобою всегда, ибо запечатлены словом.

— Я буду писать в тетрадь, — сказала Маша.

Она была как страусенок: длинноногая, длинношеяя, большеглазая, Василию Андреевичу до слез захотелось, чтобы вся ее детская некрасота превратилась, когда это будет так нужно, в прелесть совершенства.

Подошла Екатерина Афанасьевна.

— Нам пора, Мария... Мы завтра отправляемся в Москву. Повидаю твоего Карамзина, он пишет мне очень грустные письма. Не отвезти ли что-нибудь твое для «Вестника Европы»?

— У меня нет готового! — испугался Василий Андреевич, и ему захотелось очутиться в Москве.

— Ах ты наш страдалец совершенства! — рассмеялась Екатерина Афанасьевна. — Не гордыня ли это? Ты хочешь быть ровней гению.

— Стихи, пусть даже самые незатейливые, требуют отделки. Такое уж свойство литературы. А другое свойство — Карамзину быть Карамзиным, Жуковскому — Жуковским.

— Васенька! Да ты сердисься!

— Нет, я просто говорю серьезно о серьезном. Мне не стыдно признаться: я преклоняюсь перед Николаем Михайловичем. Когда я бываю у него, то физически чувствую обновление. Карамзин — гений нового.

— Ох, Васенька! — Екатерина Афанасьевна

даже головой покачала. — Муза-то, я гляжу, сударынька опасная... Как ты говоришь о Николае Михайловиче? Гений нового? Какие же вы молодые, пииты. Твоему кумиру под сокрок, а в письмах — юноша.

МИНИН СЛАДКОЙ РУССКОЙ РЕЧИ

Для русских слово «новое» — синоним «весны». Молодая Россия приняла сочинения Карамзина с восторгом. Так радуются подснежникам в проталинах, когда земля задавлена сугробами, а реки закованы льдом.

Прозрачность, легкость языка, интимность стиля, европейское мышление, общечеловеческая значимость в устремлениях и чувства, чувства!

«Старое» Россия почитала сокровищем во времена допетровские.

Нынешние вертопрахи, нахватавшись парижских верхушек, свысока взирают на святоотеческое, на исконное. У нынешних во всем пустота. Не золото копят, но бумажные ассигнации, облигации, акции и векселя, будь они неладны!

Для Александра Семеновича Шишкова, академика с 1796 года, вице-адмирала с 1798-го, томики новых журналов и книг были подобием железных прутьев, коими Карамзин и карамзинщики отгораживали русских людей от корени, из которого пошла Святая Русь, от природного языка, от божественного величия церковнославянского.

Поставив перед собою на столе презренную книжицу «Вестника Европы», адмирал запер кабинет на ключ и, облачившись в мундир со звездой, с Анненскою лентою, увидел себя капитаном фрегата «Николай».

Сражение предстояло не менее грандиозное, нежели со шведами.

Перо выбрал из доброй дюжины, поменял чернила, затеплил лампаду перед иконой святителя Николая.

Чувствуя в сердце львиную силу, львиный гнев, не торопился разразиться рыком. Не гром убивает — молния. Разворошить улей — пустое дело, нужно до царицы-пчелы добраться.

Застегивая пуговицы на мундире, Александр Семенович смотрел на себя в зеркало. Для ны-

нешней, ничтожной по духу своему публики истина не есть довод следовать истине. Для нынешних дороже — от кого слышат. Подавай модника наподобие французистого шута Базиля Пушкина.

Будет ли нынешняя Россия внимать Шишкову?

Автора «Морского словаря» знают на флоте. Переводчика «Слова о полку Игореве» — два десятка любителей древней словесности... Однако ж адмирал Шишков вхож во множество семейств как автор детских книг.

Кто не читал в России колыбельной:

*На дворе овечка спит,
Хорошоохонько лежит...*

Или «Николашиной похвалы зимним утехам»?

*Хоть весною
И тепленько.
А зимою
Холодненько,
Но и в стуже
Мне не хуже...*

И это не говоря о «Нищенской»:

*Услышьте стон плачевный мой,
Мне только минуло шесть лет.
Ах, сжальтесь, сжальтесь надо мной:
Есть хочется, а хлеба нет!
Я ведаю, хотя мала,
Что в свете надобно терпеть;
Но мало так еще жила!
Не дайте рано умереть.*

Александр Семенович быстро прошел к столу. Начертал на белом листе название статьи стремительно и четко, так пишут приказы во время сражений: «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка».

Покосился на томик «Вестника Европы». Адмиралу досадила статья, в коей Карамзин предлагал дело весьма благое и для воспитания юношества зело значительное: создать картины и монументы о важнейших событиях российской истории. И даже предлагал сюжет картины.

Александр Семенович не утерпел — открыл заложенное место: «Рюрик, опершись на лук свой, задумался, Синеус и Трувор советуются между собой. Некоторые из их товарищей занимаются ловлею, другие, узнав о прибытии славян, спешат к ним. Послы говорят друг с другом, удивляясь величественной красоте варажских князей».

Заглянул в конец статьи. «В Нижнем Новгороде глаза мои ищут статуи Минина, который, положив одну руку на сердце, указывает другою на Московскую дорогу...»

Великое дело, проповедуемое Карамзиным, укрепит доверие и к его пустым полуфранцузским писаниям — вот в чем беда!

Ломоносова и Державина все эти базили пушкины, шаликовы вкупе с курятником Московского пансионата готовы придать забвению и — пуще того — пыжата осмеять.

Перо решительно помчалось по бумаге, будто ветер ударил в паруса.

«Всяк, кто любит российскую словесность и хотя несколько упражняется в оной, не будучи заражен не изцелимою и лишающею всякого разсудка страстии к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных».

Подбежал к шкафу, взял прошлогодний номер карамзинского журналишки, прочитал: «Сверх того, в «Вестнике» будут и русские сочинения в стихах и прозе, но издатель желает, чтобы они могли без стыда для нашей литературы мешаться с произведениями иностранных авторов».

— Каково?!

Спазма сжала горло адмиралу. За русскую литературу стыдно этому охотнику проливать потоками слезы, воздыхать над каждым цветком.

*Как можно разлюбить, что нам казалось мило,
Кем мы дышали здесь, кем наше сердце жило?
Однажды чувства истоцив,
Где новых взять для новой страсти?*

Вот он весь Карамзин! Пустые словеса. Да возможно ли сие равнять с Державиным?

*...Как сквозь жилки голубые
Льется розовая кровь,
На ланитах огневые
Ямки врезала любовь?
Как их бровки соболины,
полный искр соколией взгляд.*

Но вот ведь парадокс. Не кто другой — Державин приветствовал первые хилые сочинения нынешнего кумира:

*Пой, Карамзин! — И в прозе
Глас слышен соловьи.*

Так-то! А карамзинская орда? Разве способна ценить величие других? Ищут любого повода, дабы явить свое искусное злоречье.

Александр Семенович опахнул себя попавшимся под руку веером. Взял перо.

«Древний славянский язык, повелитель многих народов, есть корень и начало русского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему эллинского языка, на коем витийствовали гремящие гомеры, пиндары, демосфены, а потом златоусты, дамаскины и многие другие христианские проповедники... — и припечатал всех отечественных парижан: — Кто бы подумал, что мы, оставя сие многими веками утвержденное основание языка своего, начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка?»

ЗВАНКА

Плыть по лону вод исконно русской реки — наслаждение уму и сердцу. Александр Семенович Шишков хоть и досадовал на медлительность хода, но в то же самое время благословлял неспешное сие путешествие. И даже находил отрадное преимущество речного судоходства перед морским. Море — очарованная пустыня, у реки — берега. Зелеными клубами дубовые рощи, чудо березняков, золотососен. Всё родное, и река родная. У рек облик народа, живущего по ее берегам. Вон

какие дали-то! Богатырские. Окунишь сердцем в сии дали, очами же в могучий поток — и ты сам частица сокровенной тайны Русской земли. Волхов. Волхв, волхвование.

Отправляясь в путешествие, Александр Семенович изучал карту.

Исток Волхова в озере Ильмень, впадает в Ладогу. А каковы притоки! Оскуя, Пчевжа, Кереть, Тигода! Вот оно, волхвование, но о чем? Чей загат? В какие времена сбудется прореченное?

Александр Семенович сидел на корме. Запах чистой, должно быть, напоенной серебром воды пьянил непонятной, невесть о чем — грёзой. Теплые волны воздуха, пахнувшего медвяным сеном, накатывали с покосов одна за другой. В груди было молодо. И на тебе — обольщенье!

Отгородясь от берега густыми ветлами, Паранька ли, Манька, а статью да живым мрамором — Венера — отжимала золотой сноп волос, должно быть, не токмо пят, но песка касавшихся. Красавица обмерла, увидевши перед собой ладью. Дивное мгновенье явившейся очам девичьей тайны и — пассаж! Укрыла наготу власами.

— О, где же ты, Сандро Боттичелли! — воскликнул Александр Семенович и улыбался до самой Званки, думая о Державине: «Есть чего ради быть поселянином!»

Званка открылась вдруг, поразив неожиданностью. На ласково-зеленом холме ослепляющий белизной храм с колоннами гордого бельведера. Столь же безупречная мраморная лестница прямо от воды. Посредине лестницы фонтан, извергающий алмазные струи. И всё это среди волшебного сада!

Царство Муз!

Едва Александр Семенович ступил на лестницу, грянул пушечный залп, и, пока он шел по лестнице вверх, пушки палили. Аховый грохот новых залпов сливался с эхом. И небеса дрожали! Слава Богу, не страшно, скорее с бесшабашной радостью.

Пушки палили, но людей не было. Александр Семенович, дивясь затейливости Гавриила Романовича, вступил на площадку перед фонтаном, выложенную мозаикой: Аполлон со всеми его Музами. Грохот пушек смолк, заиграл пастушеский рожок, и к поэту-

адмиралу вышли боттичеллевские грации — недаром на ум пришли, — в прозрачном газе, держа над собою венки из полевых цветов и роз, а с грациями — Весна — несравненная Дарья Алексеевна, хозяйка Званки.

Грации увенчали адмирала венком, взяли за руки, повели на лужок, и он очутился посреди хоровода, поющего русское, вечно молодое, призывно игривое:

*Куманечек, побывай у меня.
Душа-радость, побывай у меня,
Побывай-бывай-бывай у меня.
Душа-радость, побывай у меня!*

Хоровод плыл кругом, да всё быстрее, музыка заливалась пуще, жарче! И — тишина. Хоровод растекся, и перед Александром Семеновичем, раскрыв объятия, стоял Державин.

— Экий ты Пан! — восхитился Шишков.

— Здравствуй, драгоценный наш воитель во славу русского слова! Здравствуй!

Сенатор обнял адмирала, и они пошли в беломраморный храм, оказавшийся уютным домом, за столы дубовые.

Скатерть-самобранка в серебре и хрустале, кушанья все русские, настоечки свойские, разве что шампанское из Шампани.

— Какое мистическое, какое вдохновенное место избрали вы, Гавриил Романович, для жизни, а стало быть, и служения русскому слову!

— За встречу! — поднял чашу Державин.

— За Волхов! — добавил растроганный встречей Шишков.

— Река полноводная, рыбная, что ни поворот — красота и восторг! — добродушно согласился Гавриил Романович.

— Мне чудится, Волхов назван Волховом в честь князя Всеслава Полоцкого.

— Оборотня?

— Да почему же оборотня? Грозного князя, воевавшего аж саму Индию. Оборачивался князь птицей и зверем ради военных хитростей: ясным соколом, серым волком, гнедым туром-золотые рога. Мне прислали из Москвы списки с дивных сказаний, возможно Бояновых. Ключарев — молодец, директор московской почты, собирается издать сей сбор-

ник. Я запомнил несколько строк о младенчестве Волха Всеславьевича:

*«А и гой еси, сударыня матушка,
Молода Марфа Всеславьевна!
А не пеленай во пелену червчатую,
А не поясай в поесья шелковыя, —
Пеленай меня, матушка,
В крепки латы булатныя,
А на буйну голову клади злат шелом,
По праву руку — палицу,
А и тяжку палицу свинцовую,
А весом та палица в триста пуд».*

Сие сказано новорожденным, когда ему исполнилось... полтора часа!

Дарья Алексеевна рассмеялась. Александр Семенович, поднявши брови вопросительно, увидел на лице хозяйки радостное изумление — хохотнул, довольный, и повернулся всем корпусом к Гавриилу Романовичу:

— Но ведь сколь сие выразительно! Сколь мощно! Куда нам до Бояновых времен! Особливо всем этим карамзиным, новоиспеченным жуковским. Их поэзия — перелицованное платье с немецкого, с английского, более всего — с французского плеча. Искатели вздохов и слез дурочек-барышень. По мне, всё их европейское умничанье сродни куплетам Сандунова:

*Чернобровы, белокуры,
Не откажут ни одна:
Денег не клюют лишь куры,
А любовь до них жадна.*

— Уж очень вы строги, Александр Семенович! — Дарья Алексеевна засмеялась еще веселее. — Я не поклонница Карамзина, и все же, полагаю, он очень талантлив. Ума пусть насмешливого, но, слава Господу, не злого. Помните его «Илью Муромца»?

*Тут красавица заметила,
Что одежда полотняная
Не темница для красот её,
Что любезный рыцарь-юноша
Догадаться мог легохонько,
Где под нею что таилось...*

Державин подхватил:

*Так седой туман, волнуясь
Над долиною зеленою,
Не совсем скрывает холмики,
Посреди её цветущие;
Глаз внимательного странника
Сквозь волнение туманное
Видит их вершинки круглые...*

— Ну так это же и есть Сандунов! Сандунов Николай Николаевич, перевитый шелковой лентою из магазина мадам Обер-Шальме.

— Литература литературой, но, любезный Александр Семенович, мы, однако, ждем от вас новостей! — перевела разговор на светское Дарья Алексеевна.

— Какие ж в Петербурге новости?! Ездят в оперу, кто в городе остался, а в опере — всё тот же Сандунов, хоть сочинители другие:

*Замужни и вдовицы —
Все на один покрой:
И муж глаза закрой!*

Сие сочинение господина профессора Мерзлякова. Ему в пику Бородулин романс произвел, а может, и не в пику, но позавидовав, — пошлость сию поют даже в трактирах:

*Все женщины — метресы,
Престрашные тигресы.
На них мы тигры сами
С предлинными усами.*

Нет новостей. Дарья Алексеевна! Одни на водах за границей, другие на липецких водах. Доктор Альбини приставлен к сим отечественным струям главным врачом, а ведь он лейб-медик государя. Вот все и ринулись в Липецк: Нарышкины, Щербатовы, Голицыны. Директором вод назначен Иван Новосильцев, брат статс-секретаря Николая Новосильцева.

— Александр Семенович! Неужто ничего веселого не происходит на белом свете?! — взмолилась Дарья Алексеевна.

— Веселого? Как же, как же! Тут одно дельце недавно заминали. Сынок симбирского поме-

щика, офицер, разумеется, наделал долгов и продал имение отца вместе с... отцом! Записал его как бургомистра!

— Господи! — восхитилась Дарья Алексеевна.

— Сие смешно до слёз.

Державин поднял перст к потолку:

— Но может собственных платонов и быстрых разумом невтонов Российская земля рождать!

СКОЛЬ ВЕЛИК ПОЭТ У БОГА

После обеда русские люди предают себя Морфею. Поспав часок, переварив телятинку на сливках, индейку, кормленную грецкими орехами, щучью уху, запеченные в тесте стерляди, приятели отправились на пленэр. Гавриилу Романовичу было что показать, чем погордиться. В имении работали паровая мельница, лесопилка, движимая силою воды, суконная и ткацкая фабрики с красильней.

Посмотрели больницу для крестьян. Прошли по винограднику, по оранжереям. Всё отменно в высшей степени.

За кофе Гавриил Романович и Дарья Алексеевна просили гостя прочитав его перевод «Слова о полку Игореве».

— Да разве я всё помню! — взмолился Александр Семенович. — Чай, четыре года тому назад издано.

Но у Державиных перевод Шишкова был. Адмирал разволновался, читал стоя:

— «Приятно нам, братцы, начать древним слогом прискорбную повесть о походе Игоря, сына Святославова! Начать же сию песнь по бытиям того времени, а не по вымыслам Бояновым. Ибо когда мудрый Боян хотел прославлять кого, то носился мыслию по деревьям, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Приятно нам по древним преданиям, что, поведав о каком-либо сражении, применяли оное к десяти соколам, на стадо лебедей пущенным: чей сокол скорее долетал, тому прежде и песнь начиналася, либо старому Ярославу, либо храброму Мстиславу, поразившему Редедю пред полками косожскими, или красному Роману Святославичу. А Боян, братцы, не десять соколов на стадо лебедей пускал:

но как скоро прикасался искусными своими перстами к живым струнам, то сии уже сами славу князей гласили».

— Не довольно ли? — спросил адмирал.

Гавриил Романович протестующе пошевелил бровями:

— Лишний раз послушать «Слово» — побыть в семействе всего нашего русского дома, у которого нет ни завтра, ни вчера, а как у Господа Бога — мир в оба конца, единый и вечный.

— А есть ли какие недовольства прочитанным? — спросил автор.

— Твой перевод подкупает величием и простотою, пожалуй что и простодушием. Верно я говорю, Дарья Алексеевна?

— Мне такое слово по сердцу! — улынулась хозяйка Званки, ее большие прекрасные глаза с дивною поволокой всегда волновали поэтов. Чудилось, сей загадочный перламутр рожден созвучиями и чувством стихов. — Ежели вы ждете замечания, ради высшего совершенства, то не жалко ли вам, Александр Семенович, некоторых переменных в переводе слов? В древней рукописи персты вещице, а у вас всего лишь искусные. Там «рокотаху» — рокотали, а у вас — гласили.

— Бес попутал! — признался автор. — Перевод для честного сочинителя пусть блаженное, но все-таки рабство. Вот и насочинял.

Сделавши перерыв, выпили еще по чашечке кофе, и Александр Семенович, перекрестясь на икону Спаса, продолжил чтение.

У него несколько раз перехватывало дыхание, когда пошли картины русских бед:

— «На реке Каяле свет в тьму превратился; рассыпались половцы по Русской земле, как леопарды из логовища вышедши, погрузили в бездну силу русскую и придали хану их великое буйство. Уже хула превзошла хвалу; уже насилие восстало на вольность, уже филин спустился на землю. Раздаются песни готфских красных девиц по берегам моря синяго. Звения русским золотом, воспевают они времена Бусовы, славят мщенье Шураканово...»

Плач Ярославны был читан ласково и горестно:

— «Ярославна поутру плачет в Путивле на городской стене, приговаривая: «О ветер! ветрило! К чему навеваешь легкими своими крыла-

ми хановские стрелы на милых мне воинов? Или мало тебе гор под облаками? Развевай ты тамо, лелея корабли на синем море. Но за что развеял ты, как траву ковыль, мое веселие?»

Дарья Алексеевна с мокрым от слез лицом выпорхнула из кресел, поцеловала руку поэту.

Гавриил Романович промокал слезы рукавом халата:

– Пронял!

Шишков, весь дрожа от пережитого, хватил рюмку ликеру и, придвинувшись к Державину, заговорил о давно продуманном, о заветном:

– Нам, Гавриил, нельзя уступить русского! Сего русского, – стукнул ладонью по «Слову», – французистому бесовству... Карамзин со всей оргией шаликовых да пушкиных переменяют строй речи. А строй речи я есть – душа. Господи! Языка родного не знают. Мужиковата, видишь ли, русская сладкозвонкая речь, им бы токмо картавить. Картавым кривляться проще. Обезьянье время, Гавриил Романович!

– На армию нужна армия! – согласился Державин.

– Золотое слово! Будто великого князя Святослава слышу! Единение и напор! И надо по-суворовски – в штыки!

– Ах, у вас пошли мужские разговоры! – сказала Дарья Алексеевна. – Позвольте мне удалиться. Нужно дать некоторые распоряжения.

Хозяйка ушла, а они думали, кого можно рекрутировать на бой с русскими французами. Иван Андреевич Крылов, князь Сергей Александрович Шихматов-Ширинский, Хвостовы, граф Дмитрий Иванович и Алексей Семенович, Федор Петрович Львов, флигель-адъютант Петр Андреевич Кикин, Карбанов Петр Матвеевич, сенатор Иван Семенович Захаров, не пишущий, но любящий служителей муз, щедрый меценат. Князь Дмитрий Петрович Горчаков, полковник Александр Александрович Писарев, Александр Федорович Лабзин, Василий Федорович Тимковский, Петр Александрович Корсаков, сочинитель букваря – Николай Иванович Язвицкий, Галинковский Яков Андреевич, Шулепников, как его, господи...

– Это же сила! – решил Шишков и, прижавши руки к груди, смиренно попросил: – Гав-

риил Романович, почитайте новое... Что нынче волнует российского Овидия?

– Волнует. Волнует, Александр Семенович... Возьму листы, совсем недавно сочинено.

За окном было синё, зажгли свечи. Державин прочитал:

*Необычайным я парнем
От тлена мира отделюсь,
С душой бессмертной и пенем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.*

*В двояком образе нетленный,
Не задержусь в вратах мытарств;
Над завистью превознесенный,
Оставляю под собой блеск царств.*

*Да, так! Хоть родом я не славен,
Но, будучи любимцем муз,
Другим вельможам я не равен
И самой смертью предпочтусь.*

Это была песнь поэзии и самому себе. И что-то в ней было лебединое.

*С Курильских островов до Буга,
От Белых и Каспийских вод,
Народы, света с полукруга,
Составившие россов род,
Со временем о мне узнают:
Славяне, гунны, скифы, чудь...*

Вдруг грохнули пушки, языки огня на свечах припали, но в саду, должно быть, папоротник зацвел.

Оба поднялись. Гавриил Романович дочитал стихотворение, и, омочивши друг друга слезами восторга, они вышли на крыльцо любоваться сказкой фейерверка.

РОЗОВОЕ УТРО

Гавриил Романович поднялся на заре, а гость уже в саду.

– Нигде и никогда не видел столько розового! – Александр Семенович повел руками. Розовое небо, розовый Волхов, розовые плёсы противоположного берега, сад, розовый от роз

и шиповника. — Ежели в Званке ловят розовых щук и голавлей, не удивлюсь.

— А не погулять ли нам по Волхову?! — предложил Державин.

— Зачем моряка спрашивать о море?

— Тогда я за Тайкой.

Тайка улыбалась хозяину и гостю, уж так была рада путешествию, что у пиитов настроения прибыло вдвое.

Флот Званки насчитывал, кроме дюжины лодок, два корабля. Один, с домиком посредине, носил имя «Гавриил», другой был «Тайкой». Самый настоящий бот, устойчивый на волне, быстроходный.

Выбрали «Тайку».

Гребцов было четверо, но спешить не хотелось.

— К заводу! — распорядился Гавриил Романович. — Покажу тебе царство черных стрекоз и кувшинок.

— Кувшинок, — повторил Александр Семенович. — Я голову ломаю над корнями слов. Откуда что пошло? Какое оно — первое слово, сказанное Адамом Еве?

— Бог!

— Ишь как просто. А я вот вслушиваюсь в слово «кувшинка», и во мне так и звенит буква «ка». Кувшинка — от кувшина. Но кувшин — он ведь для воды. Ре-ка. О-ка. Прото-ка. А рыбы? Шу-ка, о-кунь. Или, скажем, пере-кат, пото-к, ручее-к. Всюду «ка».

— Заниматься такими вещами — голова пойдет кругом! — посочувствовал другу Державин.

— Я последнее время предлоги исследовал. Сила предлогов зело велика. Всякий предлог, приставленный к глаголу, показывающему единократное и неокончательное действие, переменяет оное в окончательное и совершившееся. Возьмем первое, что приходит на язык: жить, пить, просить, золотить... Приставляем предлог и получаем картину завершенного круга, бытия: прожить, выпить, пропить, вызолотить, выпросить.

— М-да! — согласился Гавриил Романович. — Слово — материя высшего порядка. А вот и старлица.

Ботик заскользил по лону спящей воды, не тронутой ни единым дуновением.

— Где же кувшинки? — озирался Александр Семенович.

— Подождем.

Гребцы подняли весла, и такая тишина объяла суденышко, будто природа дыхание затаила.

— Вот видишь, — сказал Гавриил Романович, разведя руки. — Моя заводь, моя землица, моя Званка. — А всё ведь Музы! Я из нищих казанских дворян. Десятилетие от роду вступил рядовым в Преображенский лейб-гвардии полк. Прапорщика получил через десять лет! Казалось, чего ждать от жизни? Но Музы, Музы! В тридцать семь возвели меня в статские советники. В сорок — «Ода к Фелице». И вот уж губернатор. В пятьдесят — тайный советник, близкий человек великой императрице. При Павле Петровиче, ради моего несребролюбия, — казначей. А там и бескорыстная честность была оценена. Государь Александр поручил мне, нелепому служителю истины, министерство юстиции... Увы! Правда и государям обуза. Да ведь и слава Богу! Ныне я хозяин Званки — и то мне в радость. Шестидесять лет с годом. А мог ли мечтать вечный солдат о сим великолепии? Такое даже в сладких снах не снилось.

— Я тоже смолodu не скакал с чина на чин. В Морской кадетский корпус хлопотами благодетелей попал. В семнадцатое лето — гардемарин. Служить отправили в Архангельск. Юному человеку побывать в краю, родившем Ломоносова, счастливый жребий. Вот только капитан корабля оказался пьяницей. Сие пьянство аукнулось на мне весьма жестоко. Съехал я на берег с мичманом. Вернулся, а капитан — чуть не с кулаками: «Самовольничать? Ну, тогда не прогневайся. На каждое плечо — по свинцовой гире в пуд с четвертью, и будешь всю ночь на палубе звезды считать». Заматерился громово и ушел проспать. У нас, гардемарин, был свой начальник, я — к нему. Он и сам знает, что у меня было разрешение, но отменить приказ капитана — нажать беду уже на собственную голову. Сочувствует, и только: «Ничего поделывать нельзя, будить капитана без толку — невменяем». Повели меня к месту казни, тут я и взмолился: «Отсрочьте экзекуцию до утра!» Смиловившись. Отложили мою гибель до восхода солнца. Я хоть и моряк, а здоровья слабого. Утром капитан протрезвел, разобрался в деле и — казнь отменил.

Залаяла на пролетевших уток Тайка. Пусти-ли собаку на берег. Гребцы закинули удочки.

— Много рассказов о трудностях морской службы, верно ли это? — спросил Державин.

— Море — стихия беспокойная, у каждого корабля свой нор, что ни командир — характер, а то и сама дурь. Я в мое первое большое плавание много бед перенес. Зимовали мы в Двине, а как река открылась, пошли по Белому морю к берегам Лапландии. Плавание было моим счастьем.

На море я смотрел глазами Ломоносова, а корабельная служба шла с Петром Великим в сердце... Все лето бороздили северные моря, а в октябре бросили якорь в порту Копенгагена. Оттуда пошли к острову Борнгольму. Капитан доверил вести корабль штурману: а тот, утрашась бури, повел судно вдоль шведского берега. И вот она — мель! Сели крепко. Волны огромные, того гляди перевернут корабль. Надели мы белые рубахи, срубили мачты, чтоб облегчить корабль. Принялись палить из пушек, призывая помощь. Но шведам русские хуже злых медведей-шатунов... Гардемарины кинулись к капитану просить лодок. А капитан спяну или по природной тверди своей — решил утонуть вместе с кораблем и со всем экипажем. Мы восстали. Выбрали другого капитана. Слава Богу, умного человека. Привел нас к прежнему начальству. Произошло примирение, и капитан позволил послать одну шлюпку на берег. Мой приятель, лифляндец, был назначен за старшего, меня позвал с собой. Я согласился, но вдруг почувствовал такую смертную тоску, что бросился к другу и умолил не называть моего имени среди отбывающих... Сей нечаянный ужас спас мне жизнь. Шлюпку возле берега перевернуло шквалом, мой друг погиб. А плыть среди волн, кипящих не хуже казацкого кулеша, мне пришлось в тот же день, а вернее — в ночь. Наш соотечественник, узнавши о том, что русский военный корабль терпит бедствие, прислал лодку спросить, что нам нужно. Прибывший говорил по-немецки, а на корабле немецкий язык, после гибели моего друга, знал один я. Меня и посадили в лодку. Восемь верст хаоса, ледяных брызг, и в три утра я был на берегу... Много пришлось хлопотать перед

бургомистром и всяческими властями. Сначала перевезли с корабля больных, но оставили на берегу под открытым небом, а погода — упаси Господи! — дождь, пронизывающий ветер... В конце концов, всё обошлось.

Нас устроили в городке Истед. Жители были очарованы русскими, а я так потерял голову, влюбившись в Христину Белингбери. Но приказ, перевод и разлука сделали нас несчастнейшими людьми. Признаюсь, до сих пор сердце шемит, когда вспоминаю те давние дни.

Тут Шишков поднялся со скамьи, с восторгом поводя руками:

— Кувшинки! Как золотом посыпано. Откуда же они взялись?

— Всплыли! — улыбался Державин. — Солнце взошло.

НЕЖДАНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

Весною человек счастлив от весны, а тут всё было чудо. Жуковский ехал не столько в Москву, сколько в Свиблово, на дачу Николая Михайловича Карамзина.

Сам даже на краткий визит храбрости не набрался бы, но сей вояж — по приглашению! Приглашение «быть непременно» привезла еще в феврале Екатерина Афанасьевна. Карамзин к тому же прислал книгу князя Шаликова «Путешествие в Малороссию» с нижайшею просьбою написать отзыв для мартовского номера «Вестника Европы».

Просьба Карамзина — боже мой! Сочинение князя прочитано залпом. На другой день перечитано. На третий — толстое письмо почтари помчали из Белёва в Москву.

И вот Жуковский стоял перед Николаем Михайловичем. Стоял, растерявшись, и не от своей глупейшей стеснительности, — вдруг открыл: Карамзин на голову ниже!

В прежние встречи Василий Андреевич этого не заметил, не запомнил... Может, вымахал за год мишенского сидения?

И еще одно изумило: великий писатель был рад ему. С дороги — за стол, накормил, повел в парк. Показывал усадьбу Нарышкиных, церковь, построенную в Петровскую эпоху.

— А на колокольне-то у нас — пленный швед! Голос — медь с серебром! — погордился Николай Михайлович. — История. Я теперь весь в прошлом. Мой Вергилий по дебрям российским — преподобный Нестор.

— А литература?! — испуганно вырвалось у Жуковского.

— Литература — суета... При Павле Петровиче — суета опасная, нынче голову за изящную словесность не рубят, а жилы из сочинителей тянут не хуже чем в застенке. Ваш кумир Антон Антонович Прокопович-Антонский — он ведь ко всем своим службам еще и цензор — изъял было из «Вестника Европы» мою «Марфу Посадницу». Я потребовал объяснений. Если повесть запретите — уеду из России. Всполошились, скандал-то ведь до государя дойдет, указали карандашиком на слово «вольность». Я тем же карандашиком «вольность» зачеркнул, а поверх начертил «свобода». Делу, к обоюдной радости, конец, но как-то автору! Я — Карамзин, а если повесть принадлежала бы господину Н., только начинающему писательский путь?

Николай Михайлович говорил как с равным, но ведь господин Н. это он — Жуковский.

— Разве история не опаснее литературы? — сказал что думалось. — Степан Разин, Пугачев... Великий Петр, казнивший Алексея, наследника? Грозный, своею рукой убивший сына, тоже наследника.

— Петр III, Иоанн VI, — Карамзин быстро глянул на Василия Андреевича, — Павел... Я пока что во глубине веков. Темно, да безопасно. О Бояне нынче думал. Дивный образ пиита древнейших времен. Певец полусказового царя Трояна. Да есть только имя! Произносишь сие дивное — Боян, и кажется — воздух всколыхивается от сказаний, но — увы! — ни единого слова не разобрать.

Вечером, покуривая, говорили о журнальных делах.

— Вы написали о князе Шаликове — превосходно. Князь объявил себя моим последователем. Это ему ужасно вредит, а он упорствует. Но ведь романсы в народном духе у него не худы.

*Нынче был я на почтовом на дворе —
Льстил себе найти от миленькой письмо.*

— Я, не укоряя, сказал о книге князя правду.

Карамзин снял с полки мартовский номер «Вестника Европы». Открыл заложенную лентой страницу, прочитал:

— «... Не езда в Малороссию для одних летних вечеров; они и здесь в Москве прекрасны. Выйдешь на пространное Девичье поле; там, где возвышаются гордые стены Девичьего монастыря, сядешь на высоком берегу светлого пруда, в котором, как в чистом зеркале, изображаются и зубчатые монастырские стены с их башнями, и золотые главы церквей, озаренные заходящим солнцем, и ясное небо, на котором носятся блестящие облака...» Светло, поэтично, все по-русски... Настоящая проза. Утерли Шаликову нос!

— Но ведь это отблеск ваших «Писем русского путешественника». Подражание.

— О нет! Сие — поток новой литературы, торжество русского языка, скинувшего вериги златошубого — старославянского... Прошу вас, не торопитесь. Поработаем. Я — свое, вы — свое. Вечером можно почитать сочиненное за день. Когда читаешь вслух то, что накропал в затворничестве, все промахи — вот они! — и вдруг наклонился, вложил в руки Жуковского свой журнал. — На мне теперь такая гора... Я хочу передать «Вестник Европы» человеку, умеющему любить всё талантливое, что есть в России. Такого человека я знаю... Уж очень молод, да ведь и, слава Богу, силы не растрчены, стремления не расшиблены о суету.

И тотчас перевел разговор на иное. Спросил, какое впечатление произвела книга адмирала-академика Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Оказалось, Василий Андреевич в белёвской глуши даже не слышал о таком сочинении.

— Я тоже хочу в Белёв! — воскликнул Николай Михайлович. — Нет в Москве человека, который не пытал бы меня о сим суровом трактате. И сам я, как видите, не устоял, спросил.

Карамзин положил солидный томик перед гостем, указал отчеркнутый абзац.

— «Кто бы подумал, — прочитал Жуковский, — что мы, оставя сие многими веками утверж-

денное основание языка своего (т.е. церковнославянский язык), начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка».

— Догадываетесь, в кого сей камень из пращи?

— Нет. Увлечение французским в России по-вальное, и не токмо в России. Взять ту же Польшу.

— Вот здесь еще! — и Карамзин сам прочитал вслух: — «Между тем, как мы занимаемся сим юридическим переводом и выдумкою слов и речей, ни мало нам несвойственных, многия коренныя и весьма знаменательныя российскія слова иные пришли совсем в забвение; другія, не взирая на богатство смысла своего, сделались для непривыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование и употребляются не в тех смыслах, в каких с начала употреблялись... Итак, с одной стороны, в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой — истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утвержденные понятия...» Всё это в первую очередь адресовано мне, а также и вам, Василий Андреевич. Уж очень возлюбили вы легкость и прозрачность в языке... Речь, а тем более поэтическая, должна напоминать ворочанье каменных глыб в допотопных карьерах... Вот видите, чужое слово сорвалось с языка — карьер! В каменоломнях, господин Шишков. В каменоломнях!

«Рассуждение» огорчило.

— Привыкайте, друг мой! — утешил Николай Михайлович. — За одни и те же стихи поэта могут увенчать лаврами и забросать камнями... Я понимаю адмирала, но мне сдается, не наберет он большой толпы побить в литературе литературу.

Пишущая и читающая Москва встрепенулась, гудела как улей. Приезжали Пушкин, Шаликов, сыпались приглашения от почитателей.

Над Шишковым смеялись, всяк сочиняющий накропал эпиграмму на адмирала, возмнившего себя пророком-языковедом.

Две недели отдал Свиблову Василий Андреевич. Немного переводил «Дон Кишота», наезжал в Москву к издателям. Выслушивал тираны похвал.

— Гримасы славы! — смеялся Карамзин. — В

литературе прекрасное нужно растоптать, чтоб все наконец-то признали: это хорошо!

Всё это странно.

— А что вы хотели?! Нелепое «Рассуждение», и наша слава ему под стать.

— Я никогда не жаждал славы! Даже самой благородной.

— Но хотели, чтоб вас читали?

— Хотел.

Карамзин улыбнулся.

— Привыкайте к известности. Известность многое дает, но забирает большее: тебя у тебя.

УТРАТА

Труженики по рабочим будням скучают, как по родным.

Жуковский примчался в Мишенское, будто Васькова гора могла, обидевшись, уйти за тридевять земель.

Пылая жаждою трудов, чаял замахнуться на великое, но в первый же утренний поход на Васькову гору ощутил странную зыбкость, не жизни своей, не положения своего, но зыбкость мира. Будто все это — Мишенское, Ока и Выра, — все это могло... перемениться.

Когда ему подали письмо от Ивана Петровича Тургенева, вдруг ощутил на себе мундиршко городского секретаря Главной соляной конторы. Вскрывал конверт в ознобе...

Избегая первых строк, глянул в середину листа: «Лечил лучший медик государев». Значит, Андрей! Но ведь государев лекарь-то! Глаза беспощадно прочли: «А мой цвет увял в лучшую пору».

Сердце надорвало христианское покорнейшее «Верую». Иван Петрович глаз не выплакивал, но его масонское упование на всемогущество разума перед бедою — пыль словес. «Он жив, жив любезный Андрей! Как ему быть мертву, когда ничто не умирает, а только изменяется. Природа то доказывает, разум утверждает... Что есть смерть? Переход от времени в вечность... Так, мой друг, все живет, ничто не умирает, а только изменяется и другой вид и образ приемлет... Как умереть Андрею? Как погаснуть его искре? Чем долее, тем пламя его будет чище».

Мир с места не сдвинулся, а Андрея нет! Василий Андреевич с ужасом смотрел на стопу листов — перевод «Дон Кишота», на толстенную тетрадь, сшитую из синих листов: «Историческая часть изящных искусств. Археология, литература и изящные искусства у греков и римлян», на внушительный альбом с застёжками (для записей прозрений и планов). О, планы, планы! Сколько их! Исполни — и вот оно, бессмертье. Но мысль — всего лишь зерно. Нужна жизнь, чтобы росток вытянулся, а колос созрел.

Подвинул к себе третью тетрадь — для записи изречений. Сегодня утром занес в нее мысль Джона из Солсбери: «Плоды словесной науки милы нам во многих отношениях, и больше всего в том, что, отменяя всю докучливость пространственных и временных расстояний, они дают нам исключительную возможность насладиться присутствием друзей и не допускают, чтоб вещи, достойные познания, убила забывчивость».

Останется ли в памяти России Андрей Тургенев? Столько обещал и всё унес с собою... Господи, нужны ли гении Небесам? Гении — для жизни.

— Не отступлю! — Василий Андреевич упал на колени перед иконою Вседержителя. — Господи! Моя жизнь в Твоей Воле, но я не отступлю. Благослови мечтания наши с рабом Твоим Андреем, мы готовили себя для великой службы Слову, Свету.

Плакал, смахивая слезы ладонью, но не кинулся в постель заспать врачующим сном скупящую боль. Сел за стол, достал стопу тетрадей, принялся надписывать. «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты», «Для журнала чтений или экстрактов», «Для выписывания разных пассажей из читаемых авторов», «Для собственных замечаний во время чтения, для записки всего, что встречается достойного примечания, для разных мыслей», «Для отдельных моральных изречений».

Оставил перо, умылся и снова — к столу. Сшил еще две тетради. Надписал: «Примеры (образцы) слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей и переведенные на русский язык Василием Жуковским», «Избранные сочинения Жан-Жака Руссо, перевод с французского, том первый».

Чувствовал, как дрожит сердце: отныне надлежит творить в одиночестве, но за двоих. В тетради, куда заносил пришедшие на ум сюжеты и образы, записал, что нужно сочинить в ближайшие годы: 1. «Марьяна роша» — что-нибудь из «американской жизни» в подражание «Атала» и «Рене» Шатобриана. 2. Биографии великих людей (Жан-Жак Руссо, Лафонтен, Стерн, Фенеолон). 3. Статьи: «О садоводстве», «О счастье земледельца», «О вкусе и гении».

Перевернул страницу и написал, что нужно перевести из мировой литературы: «Оберон» Виланда, «Освобожденный Иерусалим» Тассо, творения Гомера, Вергилия, Лукиана, Овидия, «Дон Карлос» Шиллера — не исполненное с Андреем дело, произведения Вольтера, Буало, оды Горация и Анакреонта...

Сверху втиснул: «Эпическая поэзия»: отрывки из «Мессиады» и Мильтона...»

Не зная, куда деть себя, выбежал из флигелька и кинулся в луга, минуя тропинки. Остановила буйная Выра. Смотрел на кипение воды на перекате, пошел к ветлам, сел на корневище. Стихи пошли сами собой, их словно бы листва нашептывала.

*О, друг мой! Неужель твой гроб передо мною?
Того ль несчастный я от рока ожидал?
Забывшись, я тебя бессмертным почитал.
Святая благодать Предвечного с тобою!..*

Вернувшись домой, записал все три строфы, закончив последнюю строку бесшабашно на чертанном восклицательным знаком:

С каким веселием я буду умирать!

В нем кипело, как в Выре.

В тетрадь для замыслов вписал сюжет еще одной повести: «Приступ: утро; пришествие весны; Весна всё оживляет, разрушение и жизнь — Андрей Тургенев... Краткость его жизни, гроб его. Надежда пережить себя. Опять обращение к весне: главные черты весенней природы (из Клейста); жизнь поселенина (из Клейста); цена неизвестной и покойной жизни, уединение, обращение к себе, к Карамзину, лес, черемуха, ручей; гнезда, конь... озеро, рыбак, первый дождь».

И глазами — иконе:
 — Господи, пошли долголетие, ибо задуманное как молния, на исполнение задуманного — жизнь положить.

ДОМ

«Вестник Европы» напечатал повесть Василия Жуковского «Вадим Новгородский». Её предворяла поэма-плач: «О ты, незабвенный! Ты, увядший в цвете лет, как увядает лилия, прелестная, блаженная! — кричало сердце по Андрею Тургеневу. — Где следы твои в сем мире? Жизнь твоя улетела, как туман утренний, озлащенный сиянием солнца...»

Карамзин тоже не остался безучастен. Слово его было краткое, простое: «Сия трогательная дань горестной дружбы принесена автором памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершего молодого человека редких достоинств».

Потерявши сына, таланты коего почитал за сокровище с печатью мирового духа, батюшка его Иван Петрович замкнул сердце от наук, а правдивее сказать, бежал от университетского юношества. Получил отставку, купил дом в Петроверигском переулке на Маросейке, собираясь дожить оставшиеся дни отшельником, без чувств, без желаний. Но жизнь никогда не убывает — заканчивал учебу в Геттингенском университете Александр, младший — Николенька — был светочем Благородного пансиона, ему прочили Золотую медаль и место на мраморной доске пониже Кайсаровых, Воейковых, Жуковского.

А у Василия Андреевича вышел первый том «Дон Кишота». Он принес книгу порадовать матушку, да Мария Григорьевна не без гнева перехватила подношение.

Как ножом по сердцу резанула сия сцена бедного Василия Андреевича, но осерчал на самого себя. Сколько матушке ждать его сыновнего обещания свой дом поставить! Убежал во флигелек, взял большой лист бумаги и нарисовал мечту: двухэтажный просторный дом с итальянским окошком в центре второго этажа. Место для дома ни выбирать не надобно, ни тем более покупать. С 1797 года имел он

недвижимость: дар от дочери Афанасия Ивановича Авдотьи Афанасьевны Алымовой — дом в Белёве, над Окою. Одна беда: хоромы сии были столь ветхие, что жить в них нельзя ни зимой, ни летом — стены мороз пропускают, а крыша — дождь.

Со своим планом поспешил к матушке Елисавете Дементьевне. Ей представил не столько рисунок, сколько смету расходов. Матушка призадумалась, а скорее всего биение сердца уняла, дабы не расплакаться, и благословила.

К Марии Григорьевне подступиться Василий Андреевич не посмел. Опасался какой-либо неводержанности грозной барыни, но та, узнавши о затее от Елисаветы Дементьевны, поцеловала любимца в макушку и решила дело:

— В голове — стишки, а ведь хозяин! С Богом, Васенька. Пора тебе иметь свой дом. Строку-то о найме плотников зачеркни. Своих пришлю, наши не хуже белёвских.

Зимой Василий Андреевич закупал лес. Летом плотники раскатили по бревнышку старые хоромы, копали яму под фундамент. Дом недалеко от обрыва, строить нужно прочно.

Сам тоже был в трудах, с поспешанием заканчивал перевод «Дон Кишота». Грозилась в гости друзья: Мерзляков с Воейковым. Обещали быть в Белёве из рязанского имения Воейкова — не приехали.

Но Господь послал дружбу Василия Ивановича Киреевского, хозяина сельца Долбино. Василий Иванович вышел в отставку в чине секунд-майора. В юношеские годы переводил английских поэтов, ибо любил мудрую жизнь островитян, а посему дом содержал в английском духе, хозяйствовал тоже на аглицкий манер. Сочинительством стихов переболел, и теперь на первом месте у него была химия, на втором — медицина, на третьем — философия.

Владел Киреевский пятью иностранными языками и библиотеку собрал превосходную.

Летом Василий Иванович зачастил в Мишенское и, наконец, набравшись духа, посватался к Авдотье Петровне. Батюшка ее Петр Николаевич Юшков да бабушка Марья Григорьевна благословили влюбленных и венчание назначили на январь, через неделю после Крещения.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

Василий Андреевич снова ехал к великому Карамзину. Ладони уже не вспотевали, когда думал о встрече. В сердце ни восторга, ни радости. Все чувства и мысли перебивала маета. Наконец-то признался себе: тяготился сельским своим уединением. Пожалуй, с тою же болью, какая жила в нем... по Агапке. Девка исчезла из Мишенского, и никто из домашних о ней не вспоминал ни разу, а он стыдился спросить, где она. Замуж, должно быть, выдали с глаз подальше. Случись беда — дворня бы не смолчала.

Дорога к Николаю Михайловичу стала короче верст на сорок. Вот уже третий месяц новоспеченный историк жил возле Подольска, в Остафьеве, в имении князей Вяземских.

Не без тревоги ехал Василий Андреевич к преображенному Карамзину. Пусть побочная, но родня князьям: летом сыграл свадьбу с Екатериной Андреевной Кольвановой — сукиной дочерью сенатора, князя Андрея Ивановича Вяземского. Да и сам уже не вольный сочинитель, а человек двора. Должность получил не ахти какую денежную, однако ж весьма почетную — государственный историограф.

Не слава первого писателя России доставила автору «Бедной Лизы» царскую службу — протекция. Михаил Никитич Муравьев, товарищ министра народного просвещения, словечко замолвил императору. Михаил Никитич был учителем Александра, преподавал русский язык и русскую историю.

Доходы от «Вестника Европы» были вдвое против царского жалованья, но Николай Михайлович, как и обещал, из журнала ушел. Вместо себя предложил друга молодости, сослуживца по Преображенскому полку Панкратия Сумарокова. Панкратий Платонович тонул в долгах, но издательское дело знал. Два журнала редактировал в Тобольске, переехав в Тулу, затеял еще один: «Приятного, любопытного и занятного чтения». Эпохе Жуковского в журнале время не пришло.

Принял Николай Михайлович Василия Андреевича ласково, но был он и впрямь другой. На лице — сосредоточенность. Говорить

стал медленнее. Василий Андреевич насторожился: «Должно быть, каждое слово у него теперь, прежде чем с языка слететь, на весах взвешивается».

— До великой беды дожили, — сказал Карамзин, усаживая гостя в мягкое кресло.

— До беды?! — удивился Жуковский. — В дороге ничего не слышал... Пожар?

— Будет и пожар, — Николай Михайлович потер озабоченно лоб. — Наполеон посла отозвал из Петербурга, генерал Гедувиль уже уехал.

— Гедувиль, должно быть, республиканец, а Наполеона сенат провозгласил императором.

— Ах, если бы так! Речь не о перемене посла. Отзыв — иное. Прекращение дипломатического диалога. Бонапарт посчитал неприличным, даже глупостью со стороны Петербурга объявить траур по герцогу Энженскому.

— Но это же было ужасно! Герцога схватили в Эттенхейме, на территории герцогства Баден. Тотчас и расстреляли возле Венсенского замка.

— Какая дивная у вас память! И замок помните, и город... Боюсь, многие неизвестные деревушки и реки скоро станут достоянием истории. Кровавые битвы, громовые победы, ошеломительные поражения...

— Но Россия, слава Богу, далеко от Наполеона.

— Пока далеко. Сардинское королевство новоявленный император уже захватил, на очереди Неаполитанское. Но довольно о политике. Скоро обед. Обедать нужно в добром настроении.

Повел гостя показать парк. Тут, на природе, Василий Андреевич и опростал свои душевные тайники.

— Не казни себя, — утешил Карамзин. — Твои теперешние чувства — усталость и недовольство собою. Задатки могучие, а сделанного мало. Поверь, всему свое время. Душа жаждет мир повидать — так собирай саквояж не мудрствуя. — Вздохнул, показал на старые липы: — Я думаю, мне до конца жизни будет этого достаточно. Дворцы, мундиры, бриллианты, пойманная улыбка государя... Теперь я, слава Богу, при деле... Всему свое время... Возвращайся в свет; в кипение страстей, слишком ты молод для затворничества.

– Свет для таких, как я, побочных детишек – завуалированное шутовство. Поэт среди князей и княжон – забавная игрушка. Но, я вижу, мне из Мишенского не дотянуться до светочей разума. Книга без профессоров, без среды посвященных не имеет ни вкуса, ни аромата, ни цвета. Я даю себе три года на завершение образования. Год – на Парижскую Сорбонну, год – на Геттингенский университет и год – на путешествия: Италия, Англия, Испания... Швейцария...

– А Вена? – улыбнулся Карамзин.

– Вена! Да ведь и славянские страны! И Скандинавия!..

– Манит, манит свет Европы жаждущих знаний русаков! Даже если в Европе – Наполеон... Друг мой, прекрасные, здравые планы! – Карамзин пожал руку Василию Андреевичу. – А для меня Европа... погасла. Для меня разверзается во всей своей необъятности – судьба России... Год тому назад мы как-то заговорили с тобой о Пугачеве, об Иване VI, Петре III... Хочу почитать тебе самое свежее – то, что вчера писал...

Но их позвали. Приехал Василий Львович Пушкин.

– Ко мне теперь редко навещают, – улыбнулся Карамзин. – Стихами не бряцаю, не до статеек... А разговоры мои о России для большинства – скука смертная.

Василий Львович был в удивительном однобортном фраке, волосы прилизаны, блестят жирно, благоухают.

– Вот он – сам Париж! – Николай Михайлович обнял расцветшего от комплимента Пушкина.

В прошлом году знаменитый московский модник посетил Берлин, Париж, Лондон. Письма Пушкина к Карамзину печатались в «Вестнике Европы». Толковые письма. Василий Львович слушал лекции аббата Сикара, обучавшего грамоте глухонемых, свел знакомство с поэтами Дюсисом, Виже, Мерсье, посетил знаменитую графиню Жанлис, чьими романами зачитывалась Россия, успел стать своим в салоне Жанны Рекамье. В музее Наполеона восхищался «Венерой Медицис», в Сен-Клу – «Федрой» придворного художника барона Герена. Был на приеме Жозефины Бо-

гарне и на аудиенции ее супруга Первого консула Франции.

«Физиономия его приятна, – написал наш путешественник о Наполеоне, – глаза полны огня и ума; он говорит складно и вежлив».

– Василий Львович, а Бонапарт перестал быть вежливым, – припомнил Пушкину сей опус Карамзин. – По крайней мере, с Россией.

– Наполеон – генерал! Он просто заскучал без войны!

– Ах, не веселитесь! Великие люди малыми войнами не довольствуются! – историк не скрывал озабоченности. – Наполеону подавай славу Александра Македонского.

– Значит, ему нужна Индия!

– Боюсь, прежде всего он будет искать славы в победах над сильнейшими противниками, кои близко.

Сели обедать. К обеду вышла Екатерина Андреевна.

Николай Михайлович представил супруге Жуковского. Пушкин на правах старого знакомого позволил себе приятельски восхититься Екатериной Андреевной.

– Ваши домашние наряды – праздник. Ах, мне бы подобное бесподобное искусство!

– Секрет простой. Я доверяю своим дворовым портнихам. – И Екатерина Андреевна потянула ноздрями воздух. – Василий Львович, я теперь понимаю, почему в Москве только и говорят, что о вашей голове. Это же бальзам владык Востока!

– Самый что ни на есть парижский, но редчайший. – Пушкин наклонил голову в сторону Екатерины Андреевны. – Тайна сего бальзама не токмо в аромате. Поверите ли, – как намажусь, так в голове – стихи! Перо само летит по бумаге... Я заказал еще три флакона и обязательно поделюсь с Николаем Михайловичем.

Карамзин всплеснул руками.

– Я уже не сочиняю стихов! Вот разве Василий Андреевич! Он у нас сама поэзия.

– Жуковский, Москва почитает вас своим, а вы, ко всеобщему огорчению, – отшельничаете. – Екатерина Андреевна подала гостю соус. – У Василия Львовича бальзам, а у меня – соус... Вам бы для театра написать. Какое диво – Сандунова, Мочалов, Волков, Баранчеева. Их таланта хватает спасать от провалов фальши-

вые ничтожные трагедии, комедии. Но чтобы творить божественно, нужна божественная драматургия.

— В Париже я был на спектаклях Жорж! — Пушкин даже немножко подскочил на стуле. — Три грации — в одной. Если бы не Бонапарт, то Франция жила бы в эпоху Жорж. Она прекрасна, но более того, она сама гармония. Париж расколот на два лагеря. Одни поклоняются Дюшенуа, другие — Жорж... Консул на стороне Жорж, и я его понимаю. Дюшенуа — великая актриса, но она дурнушка! Вы, Василий Андреевич, были в Париже?

— Собираюсь...

— В Париже быть надобно каждому русскому! И знаете почему? Да чтобы парижане доподлинно понимали, сколь они необходимы вселенной. Мы, русские, жить не умеем. Но зато как восхищаемся!

Василий Львович изрек сию тираду, и было видно, сколь он доволен собою. Воскликнул:

— Жуковский! Я покорен вашей мудростью в столь молодые лета. Вы не в столицы ринулись шаркать по прихожим. Вы избрали благословенную жизнь поселянина, и, попомните мое вещание, жизнь сия отблагодарит вас твореньями духа высочайшего! Вы станете примером для юношества.

Пушкин расточал похвалы Василию Андреевичу не совсем бескорыстно, ему не терпелось прочитать свое новое сочинение «Сельский житель». И прочитал:

*Кто в мире счастья прямого цену знает
И сельской жизни все приятности вкушает,
В кругу своих друзей, от шума удален —*

и с ударением в голосе, рукою показывая на Василия Андреевича;

*Средь бурь и непогод, он будущим богат.
Судьба труды его успехом награждает:
Здесь кравы тучные млеко ему дают;
Там стадо пестрое пригорок украшает,
Источники шумят и соловьи поют,
И пчелы перед ним сок роз душистых пьют;
Он под жужжаньем их приятно засыпает.*

Последние две строки:

*И нежный в ней певец, природой восхищенной,
На лире счастье и радости поёт, —*

прочитал стоя и кинулся целовать Жуковского.

Сразу после обеда Василий Львович уехал, его ждали в городе дела малоприятные. Предстояло появиться в суде по затеянному его супругой, красавицей Капитолиной Михайловной, бракоразводному процессу: обвинила в преступном сожительстве с вольноотпущенной девкой Аграфеной.

— Господи, кто без греха?! — махнул рукою Василий Львович и укатил.

— Европа на российский лад, — улыбнулся Карамзин и положил руку на руку Василия Андреевича. — Я обещал тебе почитать... историческое.

Поднялись в кабинет Николая Михайловича. Против свибловского это был воистину кабинет. Вдоль стен — приземистые, будто осевшие под тяжестью книг шкафы. Все — красного дерева. Но словно в пику шкафам — два огромных стола. Один — пюпитром. На нем древние грамоты, летописи. Другой — обычный. Но оба из гладко струганной некрашенной сосны. Окно чуть не во всю стену смотрело в парк.

— Отсюда я в такие дали засматриваюсь — самому страшно, — улыбнулся Карамзин.

Стулья в кабинете тоже были простые, жесткие — не для мечтаний.

— Я теперь пишу об Олеге. Олег не был князем, опекун малолетнего Игоря, но властвовал тридцать три года, до смерти. В начале своего правления Олег призвал в свою дружину не только новгородцев, но кривичей, весь, чудь, мери, а с большим войском он и над князьями был князем. Добился союза со Смоленском, но такого союза, что власть в городе вручил своему боярину. Завоевал Любич — это всё днепровские города, и возжелал Киев. В Киеве сидели Аскольд и Дир — воеводы Рюрика, городов от него не получившие. Они сами себе и добыли княжество. Да какое! Благословенный климат, тучные черноземы. Я думаю, Олег позарился на Киев и по более весомой причине. Новгород — вотчина Рюрика, продолжитель-

ного опекунов новгородцы не потерпели бы. Олегу нужен был свой город. А теперь я лучше почитаю: «Вероятность, что Аскольд и Дир, имея сильную дружину, не захотят ему добровольно поддаться, и неприятная мысль сражаться с единоплеменниками, равно искусными в деле воинском, принудили его употребить хитрость. Оставив назади войско, он с юным Игорем и с немногими людьми приплыл к высоким берегам Днепра, где стоял древний Киев; скрыл вооруженных ратников в ладиях и велел объявить Государям Киевским, что Варяжские купцы, отправленные Князем Новгородским в Грецию, хотят видеть их как друзей и соотечественников. Аскольд и Дир, не подозревая обмана, спешили на берег: воины Олеговы в одно мгновение окружили их. Правитель сказал: вы не Князья и не знаменитого рода, но я Князь — и, показав Игоря, примолвил: — вот сын Рюриков! Сим словом, осужденные на казнь, Аскольд и Дир под мечами убийц пали мертвые к ногам Олеговым...» — Карамзин положил рукопись на стол. — Вот начало Киевской Руси. Через поколение Владимир убьет предательски брата Ярополка. Святополк убьет братьев Бориса и Глеба.

— Такова природа власти?

— Такова природа человека. Каину было тесно на земле с братом Авелем.

— Как же вас полюбил бы Андрей Тургенев за сей гигантский труд! — вырвалось у Жуковского. — Вы один перед морем времен. И вам не страшно.

— Страшно, Василий Андреевич... Да ведь словечко к словечку, событие к событию, царствие к царствию. — И сказал без улыбки: — Литература-то российская теперь на ваших плечах.

Жуковский только вздохнул: всей его литературы — «Сельское кладбище». Правда, обещал Бекетову в декабре представить сразу три тома «Дон Кишота».

СУМАТОШНЫЙ ГОД

И представил. Рождество отпраздновал в Мишенском, а Новый 1805 год встретил в Москве. Получил от Бекетова деньги за доб-

рый пуд исписанных листов — и с себя скинул гору. У свободы — крылья. Просил Антона Антоновича благословить на странствия за европейской мудростью.

Учитель согласился с Парижем, с Геттингеном, с посещением Италии, Англии и весьма, весьма советовал вкушать плодов Швейцарии. К советам своим прибавлял три тысячи рублей. В долг, но с отдачею, сроком не оговоренным: когда деньги будут.

Суматошно начинался год для Жуковского. На 13 января в Мишенском была назначена свадьба Василия Ивановича Киреевского с Авдотьей Петровной Юшковой.

Забегал попрощаться с Иваном Петровичем Тургеневым, а тот с радостью: 16-го возвращается из Геттингена Александр.

— Непременно буду! — пообещал Василий Андреевич, умчался домой, поздравил молодых и снова — в санки.

И вот они смотрели друг на друга, и губы у них никак не складывались в слова.

Обнялись, разрыдались. Тут в комнату вбежал Николенька, вернувшийся из пансиона, — тоже в слезы.

— Мы снова вместе! Мы снова вместе!

Слезы были счастливые. Андрей, уйдя из жизни, соединил их всех узами сладчайшего товарищества. Слова Андрея: «Усовершенствование духа всем, что есть высокого и великого» — стали им и девизом, и благословением из мира горнего.

С проектом Жуковского о путешествии по Европе подступили они в тот же час к Ивану Петровичу. Старец разволновался, раздумялся: всю жизнь свою положил на просвещение. Решил просто:

— Поедете втроем! Николенька заканчивает пансион, незачем ему тратить лучшие годы на затхлые келии Бантыш-Каменского. Деньги, слава Богу, есть, и вложить их в европейское образование выгодней, чем прирастить на тыщонку-другую.

Отъезд назначили на май, а куда — в Санкт-Петербург. Александру надобно было сделать визиты к нужным людям, напомнить о Тургеневых, заручиться поддержкою — сколько ни путешествуй, а служить придется. Жуковский искать места не собирался: идущему стезею

книжника драгоценна свобода, однако ж в столице и книжнику побывать не худо.

Вернувшись от Тургеневых к Антону Антоновичу, Жуковский застал гостя — студента пансиона.

— Степан Петрович Жихарев, — назвал себя юноша. — А вас, Василий Андреевич, в пансионе помнят, любят. Вы наш кумир! — И прочитал:

*Скатившись с горной высоты,
Лежал во прахе дуб, перунами разбитый.
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый...
О Дружба, это ты!*

— Откуда вам сие ведомо?! — изумился Василий Андреевич, краснея. — Нигде же не печаталось! Разве что у Дмитриева читал.

— Вот каковы-та у нас студенты-та! — засмеялся Антон Антонович, очень довольный. — Всё-та на лету ловят. А кабы поменее-та по театрам шатались, так бы и в математике-та не отставали.

Тут и у Степана Петровича щечки зардели: с математикой у него беда.

— Ая, Васенька, — сказал Антон Антонович, — имел нынче беседу с Михаилом Трофимовичем, с Каченовским. У него-та скоро магистерская защита, а надо бы-та сразу доктора давать. Речь-та однако ж про «Вестник Европы». Университет Каченовскому передает редактирование-та. Вот я и говорил о тебе. Лучшего-та сотрудника ему не сыскать.

— А путешествие?!

— Путешествуй-та во благо российской словесности, а стихи-та Каченовскому шли.

— О журнальной работе я думал, — признался Василий Андреевич. — Мы наметили с Тургеневым издавать журнал сразу по возвращении из Европы. На журнал отдаю четыре года. Я посчитал. Проценты со скопленных за четыре года денег худо ли, бедно, но прокормят. Дорога свобода. Без свободы сочинительство немислимо.

— Вот и пригодится-та работа с Каченовским! — решил Антон Антонович.

А через неделю все московские дела вылетели у Жуковского из головы. Петербург!

Остановились у Мити Блудова. Митя чиновничал в Иностранной коллегии, квартиру сни-

мал в самом чиновничьем месте — на Владимирской площади, неподалеку от казарм Семеновского полка. Приехали вечером. Обнялись, положили вещи и — в Большой театр. Шла «Лиза, или Следствие гордости и обольщения», драма Василия Михайловича Федорова, переделка «Бедной Лизы». Главную роль исполняла любимица Петербурга Александра Дмитриевна Каратыгина. Играли муж и жена Сахаровы, Алексей Яковлев, знаменитый Шушерин.

С Блудовым в театре здоровался каждый второй, и Митя, как заядлый театрал, пустился рассказывать об артистах. Знал, сколько платят Якову Шушерину — две тысячи пятьсот годовых плюс пятьсот рублей на экипаж, и сколько Сашеньке Каратыгиной и Машеньке Сахаровой: те же две с половиной тысячи, но на экипажи по триста рублей. А вот их мужья, оказалось, ценились много дешевле: Николай Сахаров имел тысячу двести, Андрей же Каратыгин — только семьсот.

— Ах, как здесь было на торжестве в честь столетия Петербурга! — восторгался Митя. — Сцена и ложи в цветах. Праздновали 16 мая. Давали тоже Федорова — его драму «Любовь и добродетель». А потом балет «Роланд и Моргана» с Огюстом. Ставил, разумеется, Дидло. Кстати, завтра «Ацис и Галатеея». Что слова?! Вы сами увидите, какой огонь пылает в крови Огюста. А за всем очарованием балета, — верю, сердца ваши будут похищены с первого же танца-полета, — рябой, лысый, костлявый, как обглоданная рыба, и все-таки несравненный Дидло! Дидло — Петр Великий балета. Это он заказал чулочному мастеру Трико обтягивающие чулки-штаны, то, что мы теперь называем «трико». Это он ввел газовый тюник и создал балетную мимику. Дидло был славен в Париже, в Лондоне, но князь Юсупов не пожалел денег — и Петербург отныне имеет лучший балет Европы!

— Митя! Митя! — нарочито поскокучался Василий Андреевич. — Ты, кажется, готов забыть не токмо Иностранную коллегию, но саму Музу литературы!

— Стихи я почитаю вам на сон грядущий! — успокоил друзей Блудов. — А мое увлечение театром вы тоже прочувствуете сполна.

Загадочную фразу объяснил их поздний ужин.

Митин слуга Гаврила, поставив перед гостями блюдо с половиной булки, объявил:

— Вашего кушанья господского, Дмитрий Николаевич, от обеда вашего не осталось.

— А от твоего?

— От моего — щи да ячменная каша.

— Так подавай! — радостно воскликнул Митя и глянул на приятелей.

— Театр стоит поста! — согласился Жуковский.

Саша Тургенев хохотал:

— А я по шам так даже соскучился!

Уже на другой день, выхлопав разрешение, Василий Андреевич стоял перед Эрмитажем, за дверьми которого — мир великих — живописцев, собранных со всей Европы для царских глаз. Ему показалось, атланты, напрягшись, поднимают перед ним своды выше, выше, словно обрадовались его приходу.

У картин он оробел. Вот оно, стремление человечества к божественной красоте! У всякого народа красота своя, и однако ж невозможно сказать: это прекраснее того.

Вернулся в Москву в апреле. Привез стихи:

*Друзья небесных муз! пленимся ль суетой?
Презрев минутные успехи —
Ничтожный глас похвал,
Кимвальный звон пустой, —
Презревши роскоши утехы,
Пойдем великих по следам! —
Стезя к бессмертию судьбой открыта нам!*

В Москве Василий Андреевич застал Марию Григорьевну, которая передала ему письмо от матушки — от Елисаветы Дементьевны.

Дом был построен, на «людской избе» за крышу принялись. Матушка просила купить крючки и задвижки для растворчатых окон и благодарила за письмо из Петербурга.

«Желания твои о моем счастье чрезвычайно меня тронули! — радовалась Елисавета Дементьевна. — Конечно, мой друг, я с тобою надеюсь быть счастлива и спокойна. Любовь твоя и почтение, право, одни могут сделать меня благополучной. А во мне ты напрасно сомневаешься, я очень чувствую, какого имею сына, и если когда с тобою бранюсь, то, право, это от лишних хлопот. А когда даст Бог мы будем жить в своем домике, то ты можешь быть уве-

рен в моем снисхождении и доверенности; увидишь, что у тебя есть добрая мать, которая только твоего счастья и желает».

ПРАЗДНИКИ ПО-РУССКИ

Они смотрели на Оку — Василий Андреевич и его чудесный дом. На втором этаже итальянское окно в половину центрального сруба — овалом, под ним такое же большое — прямоугольником, по два строгих окна стражами по сторонам. Дом света.

Окна смотрели в необъятные просторы земли и неба. Ока в оправе кудрявых ветел, будто серебряная речь, — сказание о богатырских временах.

— Господи! Куда же это я от такой красоты!

Дом был пока что пуст, без печей — без домового, стало быть. Василий Андреевич огорчился. Все затеяно ради материнского тепла, коим его обделили в молодые годы. И что же! Дом заполнится жизнью, когда он будет в далеких нерусских краях, а матушке — пусть хозяйкою, коротать здесь дни, как и в Мишенском, без сыновнего попечения.

Поспешил к Екатерине Афанасьевне. Они теперь соседи, но разлука грядет, Боже мой! — на добрых семь лет. Три года — на путешествия, четыре — на журнал в Москве ли, в Петербурге...

Машенька и Сашенька кинулись к нему ласочками. Подняли счастливый визг, закружили. Глазки сияют, любят! Душа затосковала, защемила: он вернется сюда, когда милые синицы обернутся барышнями, а Машеньку-то и замуж могут выдать.

И тут вышла из своих комнат Екатерина Афанасьевна.

— Угомонитесь! Да угомонитесь Бога ради! — в расстроенных чувствах, под глазами тени. — Ах, Василий Андреевич! Замучилась, считая так и этак. Даже в Белёве жить накладно. Мои деревеньки далеко, приказчик жульничает. Самой приняться за хозяйство невозможно. В Муратове не то что усадьбы — избы приличной нет. Но горшая-то печаль — сии стрекозы. Учить же надобно! А денег моих — разве что дьячка пригласить. Я каждое утро пробужда-

юсь с ужасом: еще день ушел! Дикарки мои одикарели более вчерашнего!

— Я буду учить Машу и Сашу, — сказал Василий Андреевич, чувствуя, как радостно дрожит сердце.

— Но ты же едешь в Париж?!

— Потом. Потом съезжу. Ты согласна, чтобы я был учителем Маши и Саши?

— Васенька! Господи! Господи! Я — к себе. Не могу, не могу! Васенька, ты святой! Святой!

Она убежала.

— Ну вот! — Василий Андреевич развел руками и увидел — плачут. — Ну вот!

Рассердился, а Сашенька ему платочек подает:

— У тебя тоже слезка!

Так-то с заботами расправляются. И возле мамы, и строительство дома под присмотром. Книги не сироты, Васькова гора сутулилась, сутулилась да и повеселела.

Василий Андреевич каждое утро шел из Мишенского в Белёв, сначала к своему дому — посмотреть, как идут работы, и — к ученицам.

Екатерина Афанасьевна изволила присутствовать на уроках. На всякую ошибку дочерей — окрик, на испуганную бестолковость — злая насмешка.

И Василий Андреевич однажды объявил:

— Сегодня у нас история. Урок мы проведем, гуляя по нашим горам, под коими кладези древности Белёва.

Лица девочек озаряла счастливая заговорщицкая радость.

— Посмотрите, какое величие в природе от громады сих белых облаков!

Они стояли на самой круче: простор — под ногой.

— Смиренна тихая жизнь Белёва. Но сколько видывала эта прикрытая веселой травкою земля! Когда-то из синевы бесконечного простора, что перед нами, пришли на белёвские кручи арии. Дивное племя! Прародители множества народов. И мы, русские, от корня их.

— Значит, куда я ни шагну — древность? — спросила Машенька.

— Так оно и есть. Где Спасо-Преображенский монастырь — праотцы наши поклонялись Дажьбогу. Дажьбог — солнце и огонь, дающий жизнь. А на месте храма Иоанна Предтечи ты-

сячу лет тому назад стоял идол Ярилы. Ярило тоже солнце, но молодое, весеннее.

У девочек глаза во все лицо.

— В Ипатьевской летописи, — я у Карамзина в Остафьеве нашел сие место, — Белёв упомянут в лето 1147-е. Город был уделом черниговских князей. Великий князь Великой Литвы Витовт в самом начале XV века присоединил Белёв к своим владениям. У Литвы город отнял золотоордынский хан Улу-Махмет. Его изгнали из Орды, вот он и сыскал себе княжество. Его друг князь Московский Василий Темный, — а хан помог Василию занять Московский стол, — убоясь такого соседства, послал войско на татар. Да Улу-Махмет был великий воин. Побил во много раз превосходящую дружину москвичей и ушел на Волгу. Сначала сел в Нижнем Новгороде, но близкое соседство с Москвой было опасным. Тогда он отступил в пределы древней Булгарии. Построил вблизи сожженной Казани новую Казань и, таким образом, основал Казанское царство.

— Выходит, он белёвский?! — обрадовалась Сашенька.

— В Белёве жил еще один столь же знаменитый человек — князь Дмитрий Вишневецкий. Сей муж — основатель Запорожской Сечи. Рассорившись с поляками, князь перешел на службу к Ивану Грозному и за многие свои ратные доблести получил от царя в вотчину наш Белёв.

— Жуковский! — Сашенька сложила ладошки. — Жуковский! Давайте всегда заниматься на улице.

Машенька вздохнула, да так глубоко, что плечики до ушей поднялись:

— Скоро осень! Все станет мокрым...

— Так будем радоваться лету, пока оно с нами! — воскликнул Василий Андреевич.

Сашенька даже запрыгала: она умела радоваться.

Если дни счастливые, они такие скорые.

Осень явилась, с дождями, с холодами, с тенью.

Василий Андреевич каждый день приходил в Белёв на занятия, а по утрам составлял антологию российской поэзии. Он называл ее «Собрание русских стихотворений».

В конце ноября пришло письмо от Ивана

Ивановича Дмитриева. Знаменитый поэт общал, что получил из Франции десяти томник «Малой поэтической энциклопедии», где собраны лучшие произведения европейского стихотворчества, от поэмы до дистиха. Советовал: «При каждом роде наставление, которое не худо бы вам перевести для вашей хрестоматии». Насмешничал: «Если б я умел рисовать, то представил бы юношу, точь-в-точь Василья Андреевича, лежащим на недоконченном фундаменте дома; он одною рукою оперся на лиру, а другою протирает глаза, смотрит на почтовую карету и, зевая, говорит: «Успею!»... В ногах несколько проектов для будущих сочинений, план цветнику и песочные часы, перевитые розовою гирляндю...» И немножко сплетничал. Саша Тургенев ждет не дожидается возвращения друга в Москву. «Лирик наш или протодьякон Хвостов беспрестанно кадит Гомеру и Пиндару и печет оду за одою... Князь Шаликов возлагает на надежный свой нос зеленые очки и объявляет себя «Московским зрителем», а любимый наш Карамзин терпеливо сносит жужжание вокруг себя шершней и продолжает свою «Историю». Он уже дошел до Владимира».

Москва она и есть Москва, а в Белёве — Машенька и Сашенька.

По скрипучим снегам декабря из Мишенского в Белёв доставил обоз пожитки Елисаветы Дементьевны да сундуки с книгами Василия Андреевича.

А вместо радости — горе. Умер Петр Николаевич Юшков. Семейство покойного, ища родного тепла, перебралось к Жуковскому в Белёв, а сам он помчался в Москву устраивать дела по наследству, платить и собирать долги.

Застал Москву в тревоге, в растерянности.

Пришли вести из Моравии о битве с Наполеоном. Разбиты! Разбиты в пух и прах! Старые вояки головами качали:

— Из-за немцев — позор. Да, слава Богу, немцев-то и побили. Сие звание — Аустерлиц — на долгую нам память. Живьем слопал француз силушку нашу.

Иные бодрились, особливо купечество:

— Ну и потрепали. Бог глядел-глядел на нашу дружбу с немчурой да и наставил на ум.

Багратиона славили. Если бы не Багратион,

не его стойкость — французики всю бы армию пустили под нож. Разговоры о геройстве звучали всё громче. Славили гренадера Фанагорийского полка. На него напали четверо французов. «Пардон!» — кричат — стало быть, руки вверх. А он бах из ружья — один готов, второго прикладом по башке, третьего на штык и четвертый — давай бог ноги.

Василий Андреевич приехал к Дмитриеву. Иван Иванович за щеку держался.

— Зубы у меня — орехи грызть, а болят. Нервы, братец. Ужасное поражение! Двадцать семь тысяч убитыми с нашей стороны против восьми сотен французов. Это не война — бойня.

— Но, слышал я, потери понесли главным образом союзники.

— Австрияков полегло шесть тысяч, отними от двадцати семи. Да сто восемьдесят пушек! Да весь обоз! Суворовское наследие — до последнего гроша промотано. Геройски умирать умеем, а вот геройски побеждать разучились.

Диво дивное! Через неделю Москва уже ликовала. Говоруны соглашались: потеря аховая, тут уж молчи! Но тотчас грудь колесом — слава Богу, велика Россия. Побили нас — побьем и мы. Народу у белого царя на дюжину Бонапартов хватит. Нарожаем!

Хвастали престранно: в Английском-де клубе за один вечер патриоты осушили сотню бутылок шампанского! С гаком! И это при том, что все французские вина вздорожали, а шампанское так на полтинник. Три рубля пятьдесят копеек — бутылка.

У Тургеневых Василий Андреевич услышал: городок Аустерлиц некогда звался Славковым. Горькая слава досталась русскому воинству. В такой-то час хотелось послужить Отечеству, но чем? Как?

Воротившись домой, записал в дневнике: «Итак, цель моей жизни должна быть деятельность, но такая деятельность, которая мне возможна: деятельность в литературе».

Смысл жизни определен, а что до служения, до высокого служения, до счастья?

«Надобно сделаться человеком, — написал он Саше Тургеневу, — надобно прожить недаром, с пользою, как можно лучше. Эта мысль меня оживляет, брат! Я нынче гораздо сильнее чувствую, что я не должен пресмыкаться в

этой жизни, что должен возвысить, образовать свою душу и сделать все, что могу, для других. Мы можем быть полезны пером своим, — не для всех, но для некоторых, кто захочет нас понять... Наше счастье в нас самих».

Больше чем через полгода, стремясь быть полезным и думая о поражении русских под Аустерлицем, сочинил «Песнь барда над гробом славян-победителей»:

*Ударь во звонкий щит! Стекитесь, ополчены!
Умолкла брань — враги утихли расточены!..*

И пришла слава. Почти триста строк, тяжелесных, но пламенных, поручики и ротмистры, прошедшие Аустерлиц, и нежные девы, охочие до чтения журналов, заучивали наизусть.

К одинокому имени Карамзин прибавилось еще одно: **Жуковский**.

У ГОСУДАРСТВА СВОЯ ЖИЗНЬ

Двадцать одна тысяча русских солдат, убитых под Аустерлицем, не омрачили царствия Александра, не убьют любви у дворян к своему белокурому синеглазому гению самодержавия.

Петербург встретил императора как героя. Кавалерская дума, поднеся виновнику жесточайшего поражения (отстранил перед битвою генерала от инфантерии Голенищева-Кутузова от командования войсками!) — высший боевой орден государства. Георгия первой степени.

Александр награды не принял: орден полководческий, но, признавши за собой разделенную с войском неустрашимость и многие опасности, согласился на Георгия самой низкой, четвертой, степени.

В рескрипте же к Петербургу объявил: «Любовь любезного мне народа есть моя лучшая награда и единый предмет всех моих желаний».

Юношество ликовало, почитая себя счастливейшим поколением. Жить под державою Александра, быть сотворцами России — великой, просвещенной, благодатной.

□

Владислав Анатольевич БАХРЕВСКИЙ —

прозаик, поэт, детский писатель, драматург, публицист, критик.

Родился в 1936 г. в Воронеже.

Окончил педагогический институт в Орехово-Зуеве.

Автор более ста книг для взрослых и детей.

Первая его книга — «Мальчик с Веселого» — была издана в 1960 г.

Наиболее известны его исторические романы: «Василий Шуйский», «Смута»,

«Тишайший», «Никон», «Аввакум», «Страстотерпцы» и др.

Многие произведения писателя адресованы детям:

«Дядюшка Шорох и шуршавы», повести «Агей», «Голубые луга», «Скиф и грек»,

«Кипрей-Польхань», «Солдат-орешек», «Повелитель пампы» и т.д.

Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества (1968),

Всероссийской премии «Капитанская дочка» (1997),

премии им. Александра Грина (2005),

литературной премии журнала «Север» (2013) и др.

Член Союза писателей России с 1967 г.

